

---

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

РА  
25

Л 64

# ЛИТЕРАТУРА ВОСТОКА

СБОРНИК СТАТЕЙ

ВЫПУСК ПЕРВЫЙ

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“  
при Народном Комиссариате по Просвещению  
Петербург 1919







ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

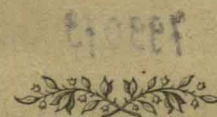
РА  
25  
Λ64

ЛИТЕРАТУРА  
X  
ВОСТОКА

ВЫПУСК ПЕРВЫЙ

СТАТЬИ: С. Ф. ОЛЬДЕН-  
БУРГА, И. Ю. КРАЧКОВ-  
СКОГО, А. Н. САМОЙЛО-  
ВИЧА, В. Г. БОГОРАЗА

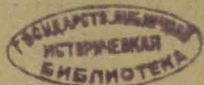
1012/5



ИЗДАТЕЛЬСТВО „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“  
при Народном Комиссариате по Просвещению

3 экз.





799079 ✓

## ОТ РЕДАКЦИИ.

Когда «Всемирная Литература» присоединила к своему Западному отделу Восточный, то было ясно, что отношение к этому отделу не во всем будет такое, как к его западному собрату. В то время, как всякий, даже малоначитанный человек имеет некоторое представление об общем характере литератур западных, помня главные отличия литератур французской, немецкой, английской, зная главные имена западных писателей, он ничего или почти ничего не слышал о литературах Востока. Кроме того, по отношению к литературам Востока пришлось несколько расширить наши рамки и поместить такие произведения, соответствующие которым не вошли в программу литератур Запада. Это относится, главным образом, к памятникам религиозным и религиозно-философским, которые на Востоке часто являются произведениями высокого художественного достоинства.

При таких условиях возникла потребность в кратких характеристиках литератур Востока, без которых каталог предположенных переводов остался бы малопонятным для читателей. Характеристики эти, по мере их написания соответствующими специалистами, будут печататься выпусками в три-четыре листа каждый.

Задача этих характеристик сводится к ознакомлению читателя с тем, какого рода памятники он встретит, что составляет их интерес как памятников характера мирового или же чисто местного. Характеристики в самих кратких чертах укажут все то, что из данной литературы



было уже известно в России и с чем особенно важно познакомиться русскому читателю. Они равняют, что, если многое, и при том весьма важное и значительное, на Востоке создается и воспринимается совсем иначе, чем на Западе, то это своеобразие Востока не воздвигает по существу никаких преград для понимания Востока внимательным и вдумчивым человеком Запада. Для этого необходимо только помнить, что все кажущееся странным и непонятным с первого взгляда, в действительности странно, непонятно, экзотично только потому, что мы еще к нему не привыкли. Чуждые нам пока формы и образы созданы тысячелетиями упорной, напряженной душевной и умственной работы. Часто нам, ищущим непосредственности, трудно свыкнуться с этим искусством, глубоко продуманным, иногда даже создающим шаблоны и по этим шаблонам-творящим, тем более, что произведения его, и в шаблонности своей, все-таки, остаются произведениями искусства. Кроме того, во многих литературах Востока чувствуется близость к природе несравненно большая, чем у нас, при том к природе, проявляющей себя ярче и сильнее, чем природа западных стран. Если мы почувствуем необъятные пространства Азии, почти недоступную высоту одних ее гор и умирание других на краю выветривающей их пустыни, глубочайшую синеву ее неба, ослепительное золото ее солнца, то мы научимся понимать все то, что кажется нам теперь таким преувеличенным, созданным необузданной фантазией многих стран Востока.

Приблизить к нам восточный мир, пока все еще от нас далекий, — вот задача, которой по мере сил будет служить Восточный Отдел Всемирной Литературы, а введением в его программу послужат предлагаемые характеристики отдельных литератур.

## ИНДИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Еще с того времени, когда «Стефанит и Ихнилат» распространял в древней Руси рассказы индийской Панчатантры, когда «Иосаф, царевич индийский», словами и деяниями великого буддийского Учителя умилял наших предков, а Козьма Индикоплов учил их индийской географии, когда сказители былины пели об «Индии богатой», когда тверич Афанасий Никитин посетил в XV в. Индию, и летописи сохранили нам описание его путешествия, а московские цари слали посольства Великому Моголам Индии, и Великий Петр мечтал о ней; когда, наконец, в последние десятилетия XVIII века переводились, с западных еще, правда, языков, индийские рассказы, русские люди уже интересовались далекой Индией и ее духовной жизнью. На рубеже XVIII и XIX вв. мы видим Герасима Лебедева, который настолько сроднился с Индией, что устроил театр в Калькутте. В первые десятилетия XIX в. и далее, так называемые «толстые журналы», повременные энциклопедии, помещали на своих страницах не мало статей по индийской литературе и переводам ее памятников. Значительно позже пробудился живой интерес к буддизму и его литературе; еще позже появилось теософское течение, занимавшееся памятниками религиозными и философскими.

Несмотря на то, что т. о. Индия и ее литература как будто были известны русскому образованному читателю—существовала даже краткая общедоступная история санскритской литературы на русском языке,—мы все-таки не можем сказать, чтобы в кругу русских образованных людей жил сколько-нибудь глубокий и сознательный интерес к индийской литературе: для него это была



экзотика, случайный ряд прекрасных и чрезвычайно оригинальных вещей; он их не связывал с родной ему литературой, не вводил их в то, что считал кругом своего чтения.

В настоящее время, когда для нас становится ясным и определенным понятие литературы мировой, пора ввести в круг чтения русского читателя литературу, и столь самобытную, с одной стороны, и столь влиявшую, с другой стороны, на литературы соседних стран, каковою является индийская.

Мы говорим об индийской литературе, но, точнее, мы должны говорить о литературе санскритской, ибо, несмотря на обилие языков, на которых говорят и пишут, говорили и писали с давних пор в Индии, именно то, что написано на языке всей индийской культуры—санскрите, является основой и сутью индийской литературы вообще. Когда пришедшие в Индию арийцы, сородичи наших предков, принесли сюда свою культуру, то глубокий, бессознательный и сознательный процесс создал для арийцев-пришельцев, а через них и для всей Индии, единый язык—санскрит, «совершенный», «правильно образованный»,—в отличие от многообразных местных арийских наречий: пракритов—«природных, народных». Этот язык, сознательная выработанность которого запечатлена в его названии, был сперва языком священнейших для всей Индии Вед, а затем, около IV века до Р. Хр., был окончательно разработан в одном из замечательнейших древних памятников человеческого ума, грамматике Панини. С точки зрения теоретической, он стал с этого времени как будто мертвым языком, не изменяясь уже в своем строе, сохраняя с величайшею ревностью законы, установленные для него Панини. Но жизненно он остался, несомненно, живым языком, его громадное словарное богатство и необыкновенная гибкость его строения позволяли ему жить настоящей жизнью даже в установленных для него формах, и потому санскрит был в течение тысячелетий не только письменным, но и разговорным языком всей культурной Индии, оставшись им и поныне. Рядом с ним существовали пракриты и литература на пракритских наречиях, а потом и на других языках Ин-

дии, арийского и неарийского корня, но вся эта литература возникла на почве подражания санскритской, и только, когда с Великими Моголами появился другой литературный язык, персидский, и когда, наконец, уже в XIX веке началось европейское влияние, мы видим зачатки литератур, не основанных на санскрите. Но персидское влияние не создало в индийской литературе—вне памятников персидского языка—чего-либо значительного, а влияние европейское еще так слабо, что, говоря об индийской литературе, мы должны говорить о литературе санскритской.

Характерное явление единого основного языка, не изменяющегося почти на протяжении более двух тысячелетий и являющегося основным, единым по существу основным литературным языком Индии, не есть единственное явление в индийской жизни, которое необходимо отметить для того, чтобы понимать эту своеобразную страну и ее духовную жизнь. На протяжении долгого своего культурного существования, Индия была и оставалась до последнего времени страной деревни, а не города; благодаря этому, несмотря на громадный культурный духовный рост, несмотря даже на значительное развитие цивилизации, т. е. культуры материальной, в основах своих индийская жизнь, как и санскритский язык, мало изменилась. Людей, сделавших своей специальностью изучение ее старины и истории и имевших, вместе с тем, возможность долгие годы прожить в Индии, всегда поражала картина современной индийской, особенно деревенской жизни, знание которой является лучшим средством к пониманию индийской старины. Необходимо было это указать, чтобы объяснить, почему, говоря о литературе, мы почти не считаем нужным останавливаться на внешней исторической канве: жизнь шла, востоя не было, было и большое развитие, но основы жизни сохранились по наши дни. Необходимо также понять, что это явление преобладания деревенской жизни, как будто способствуя еще большему раздроблению, на самом деле способствовало культурному объединению страны приближением всего населения к природе, к усилению этого общения, которое так теряется в жизни городской. Отметим тут же



и третье характерное для Индии явление: ее касты, объединение людей на почве сперва, главным образом, племенной, потом религиозной и социально-экономической. И это явление, разрастаясь и изменяясь, хранит неизблемыми свои основные черты, освященные тысячелетиями. Это явление, в его сложной индийской форме, нигде, кроме Индии, не известно, и оно наложило глубокий своеобразный отпечаток на всю индийскую культуру.

Поразительные ритмические способности индийцев, соединенные с исключительной памятью, создавшей предпочтение передачи устной, а не письменной, привели естественно к тому, что форма стихотворная получила в Индии исключительное значение. Эта привычка владеть стихом, который требует чрезвычайной отчетливости и сжатости выражения, отразилась и на индийской прозе, часто приводя здесь, как крайность, прямо к формулам, составленным из условного сокращения слов, особенно в литературе научной. Это же привело в прозе к широкому употреблению необыкновенно длинных сложных слов, составляющих одну из отличительных черт санскрита.

Древнейшие индийские литературные памятники—метрические, причем в некоторых случаях замечается явление, известное и в других древнейших литературах и чрезвычайно затрудняющее их понимание. Литературное произведение первоначально состояло из прозы и стихов, причем стихами излагались наиболее существенные части, например, диалоги, рамка рассказа была в прозе, и каждый рассказчик видоизменял ее по своему, тщательно сохраняя оберегаемые формой стихи. Проза выпала и не вошла впоследствии в записи, как элемент случайный, и мы теперь должны стараться понять связь стихов, связующая часть между которыми исчезла. Некоторые из самых любопытных гимнов, древнейших индийских памятников, Вед, составляют т. о. для нас предмет загадок, далеко еще нами не вполне разгаданных.

Веды, начало возникновения которых мы можем отнести ко времени ва три, а, может быть, и более тысячелетий до Р. Хр., необыкновенно разнообразны по своему содержанию. В основе своей это гимны богам, сопрово-

дители жертвоприношения, молитвы, заклинания. Но индийцы, непрестанно стремящиеся проникнуть за границы непознаваемого умом, одаренные удивительным воображением и редкою способностью понимать и одухотворять природу, смогли в этих гимнах создать лирику поразительной красоты и глубины, сумели в них дать и картины жизни, и даже зачатки драм: все то, что нашло себе выражение потом, через тысячелетия, в произведениях великих поэтов, имена которых составляют гордость Индии, мы уже находим здесь, в зачатках, правда, но и по форме и содержанию часто таких, что они мало чем уступают произведениям более позднего времени.

Жертвенная и обрядовая сторона заняла, однако, скоро столь большое место в индийской жизни, что появилась громадная специальная литература, созданная тою из каст, которая стала наряду с санскритом главным объединяющим элементом Индии—брахманами-жрецами. Эта почти необъятная масса памятников касается художественной литературы, однако, лишь отдельными своими сторонами там, где она сообщает предания и часто является старейшим доступным нам звеном легендарных циклов.

Но в то время, как жречество, все более и более углублялось в обрядовую сторону религии, душил в ней все живое, вырастают другие духовные силы, в которых живет вечно ищущий истины дух Индии. Старый обычай, освященный верою, установил, что, когда человек отдал должное жизни гражданина, создал семью, обеспечил продолжение рода, он должен остаток дней своих посвятить созерцанию, мыслям о том, что единое есть на потребу. Однако, люди в Индии часто не ждали для этого старости: они уходили из мира с его соблазнами и суетою и искали в общении с природою ответа на мучительные вопросы бытия и небытия, страдания, добра и зла,—того ответа, которого не давали человекоподобные боги и их слуги: жрецы с их жертвами—торговыми сделками. И вот, в этой среде отшельников и созерцателей возникли замечательные произведения индийского религиозно-художественного творчества—упанишады. Красною нитью проходит через эти произведения философской лирики,



доходящей иногда в мощных диалогах почти до драмы, одна мысль, одно чувство—искание и просветленное предчувствие Единого, что лежит в основе всего кажущегося разнообразия видимого мира. Тут уже и смутное представление о единобожии, но больше всего яркое всебожие—пантеизм. По временам вы чувствуете у этих бесстрашных искателей сомнение, то беспощадное сомнение, перед которым не может как будто устоять ничто. Не даром упанишады, даже в слабых и совершенно неудачных переводах конца XVIII в., увлекли величайшие западные философские умы, чаруя их высоким совершенством художественной формы в прозе, смешанной со стихами. Но природа индийца, как и человека вообще, многогранна, и мы видим, как наряду с упанишадами еще в первой половине последнего тысячелетия до Р. Хр. совершенно другие чувства и запросы вызывают к жизни индийский эпос. Если брахман царил духовно в Индии и был долгое время ее истинным повелителем, почти равным богам, то большое значение в жизни принадлежало и воину-завоевателю—кшатрию, который восседал на царских престолах, вечно воюя, нападая на других царей и защищая свой народ от иноземных вторжений. Его жизнь была непрестанный бой: не даром старинные законы Индии говорили о том, что царь должен всегда умирать в бою. Этот воинский дух сохранился у кшатриев и по наши дни, и как тысячелетия тому назад об их воинских подвигах пели странствующие певцы и певцы при царских дворах, так поют они и теперь. Большая часть этого почти безграничного эпического богатства погибла безвозвратно, и только случайные намеки в поздних литературных произведениях, отрывки преданий и ряд имен говорят нам теперь о том, что некогда собирало восторженные толпы деревенских и городских слушателей. Но все-таки два больших эпических цикла дошли до нас в двух поэмах, известных, по крайней мере, по имени, в широких кругах и на западе.—это Махабхарата и Рамаяна. Из них первая скорее эпическая энциклопедия, чем стройная поэма; она полна вставок и отступлений от основной темы борьбы Куру и Панду и подверглась на протяжении столетий многочисленным переработкам. Рамаяна

значительно цельнее и в Индии справедливо зовется поэтому «первою поэмою». Ведические гимны, упанишады и эпос в значительной степени выработали литературные формы, и потому, когда в VI в. до Р. Хр. появился буддизм, он нашел уже готовые материалы для своей проповеди: мы не знаем еще, правда, к какому времени отнести записи этой буддийской проповеди, особенно в виду любви индийцев к устной передаче от учителя к ученику непрерывную цепью «парампара»—один другому, но несомненно, что проповедь эта в форме диалогов, притч, басен, рассказов, сказок—существовала уже с первых времен буддизма, частью создавая новое, частью перерабатывая старые брахманские произведения. Почти одновременно с буддизмом, даже немного ранее, возникла другая секта, джайнская, имевшая тоже богатую литературу, близкую по формам к буддийской.

Мы подходим теперь к IV и III вв. до Р. Хр. когда крупные политические перевороты произвели глубокие перемены в государственной жизни Индии: династия Маурья, основателем которой был Чандрагупта, известный западному миру через греков под именем Сандракотос, дала в III в. замечательнейшего государя Ашоку, объединившего большую часть Индии. До нас почти ничего не дошло из литературы этого времени, если не считать замечательного политического трактата об управлении, индийского Маккиавели, министра царя Чандрагупты, Чанаки или Каутильи, и знаменитой грамматики Панини. Но до нас дошли знаменитые надписи царя Ашоки, указы на скалах и столбах—исповеди великого царя: никогда до того, а может быть никогда и после, эпиграфическая литература не знала ничего подобного этому всенародному признанию царя в своих грехах и пламенной проповеди того, как надо жить, как надо любить людей, неустанно стремиться воплощать свою веру в жизни и быть терпимым к вере других людей. Во всей своей простоте и часто безыскусственности эти надписи—замечательные литературные памятники. Подобных им индийская эпиграфика больше уже не дала, но она же дала нам ряд поэм, ибо индийские цари и индийские поэты сумели из надписей, говоривших о войнах и побе-



дах царей, сделать художественные произведения, из которых некоторые не уступят по красоте формы, изяществу и изысканности образов лучшим поэмам индийской литературы. Как на оригинальное дополнение, мы можем указать и на то, что индийская любовь к художественной обработке камня дала нам, например, даже драмы на камне и весь буддийский канон на мраморных плитах!

После великого собирателя индийской земли, царя-буддиста Ашоки, сносившегося с преемниками Александра Великого и, повидимому, пытавшегося несколько сблизить Индию с западом или, скорее, запад с Индией, для собранной им единой Индии наступили темные дни: обширное государство начало разлагаться и подверглось с севера иноземным вторжениям. Почти полтысячелетия, от II в. до Р. Хр. и до конца III в. по Р. Хр., длится это переходное время, когда чужеземцы царят в Индии, и мы мало знаем о том, что в ней происходило; а происходило несомненно многое: в области духа великое создание великого Учителя Будды выросло в стройную философскую систему, как одно из величайших в мире достижений человеческого ума; шла борьба между философскими учениями буддистов и брахманов, и рядом с этим в индийский пантеон входили два образа, еще неведомые Ведам, но которым суждено было владеть на многие столетия Индией, которою они владеют и поныне: могущественный, радостный и благой Вишну и не менее могущественный, но суровый и часто грозный Шива. Им дано было привлечь к себе то страстное стремление к пламенной безграничной вере, которое испытывала столько искавшая, столько сомневавшаяся Индия. Росли в стране запросы художественные и запросы научные; в области художественной Индия попыталась заимствовать у Греции и ее эллинистических наследников, как в старину заимствовала у Персии то, чего она в свое время не взяла у Александра Великого, который со своими воинами лишь пронесся бурей по северо-западным окраинам, не оставив в Индии даже памяти о себе, не то что следов своего влияния. Но этот опыт заимствования у эллинистического мира мало что дал Индии: греко-буддийские памятники архитектуры и скульптуры—более памятники

провинциального греческого искусства, чем индийские, и мы увидим, что, когда возродится настоящее национальное индийское искусство, оно мало будет похоже на чужеземное. Правда, монеты сохраняют в Индии память и о римском влиянии, но только в области научной греческое влияние будет сильно, особенно в астрономии и математике, хотя и в последней алгебра составляет собственное индийское достояние. В изящной литературе, которая уже к тому времени развилась очень ярко, мы совсем не ощущаем иноземных влияний, и вряд ли спор о первенстве изобретения басни разрешится в пользу Греции: Индия несомненно знала басню задолго до того времени, когда можно говорить о греческих влияниях. Теория о греческом происхождении индийской драмы вряд ли еще будет кем-нибудь защищаться, ибо и тут уже с давних, очень давних пор имеются все элементы литературной драмы и, несомненно, религиозная народная драма. Т. о., вся та громадная внутренняя работа, которая происходила в Индии, была работой глубоко национальной, самостоятельная, даже в ее заимствованиях: на заимствования установился странный и неправильный взгляд, как на показатель несамостоятельности заимствующего, но заимствование может быть двойное: рабское, и притом обыкновенно бессовнательное, и творческое—сознательное; достаточно вспомнить, как величайшие писатели (сошлюсь хотя бы на одного Шекспира) широкой рукой черпали у своих предшественников, никогда не теряя своей самостоятельности; так и Индия, заимствуя—творила, а не только перенимала. И лучше всего Индия это доказала тем, что она сделала своими этих чужеземцев: царь Канишка, великий индо-скиф, один из величайших государей Индии, которого она чтит и чит как своего, подобно Ашоке, был буддист, и при нем, вероятно в I в. по Р. Хр., жил один из знаменитейших буддийских поэтов Ашвагоша, произведения которого, по крайней мере, частью, дошли до нас и говорят о том, до какого высокого художественного совершенства дошли к этому времени в Индии эпос, лирика и драма.

Истинный расцвет этой литературы начинается однако позднее, примерно в IV в. по Р. Хр., вместе с



национальным возрождением при индийской династии Гупта, победившей чужеземцев и вновь собравшей во едино раздробленные индийские земли. Здесь нам придется остановиться на особой характерной черте индийского художественного творчества, которое в значительной мере определило и предопределило судьбы индийской литературы. Индеец—вечный искатель, каталогизатор и систематизатор, он увлечен определениями и схемами. Он стремится подыскать для всего систему и облечь ее в форму руководства, учебника—«шастры». Составление этих учебников обыкновенно берут на себя выдающиеся умы, нередко почти гении, их труд является плодом не только их собственной длинной работы, но и выводом из трудов целого ряда поколений предшественников, и в свою очередь становится предметом не менее длинного ряда толкователей, которые стараются всячески углубить смысл толкуемого произведения. Благодаря такой работе получилось несомненно глубокое и тонкое понимание художественной литературы, сделалось возможным исполнение основного требования индийского искусства, чтобы творчество художественное было двусторонним: творчество творящего и творчество воспринимающего. Но, увы, получился и другой результат, на этот раз уже не положительный, а вполне отрицательный: выработанная схема, одобренная знатоками, стала руководительницей поэтов, и только очень яркие, очень большие таланты не погибли в тисках этих схем.

Индийская литература справедливо гордится рядом поэтик—теорий художественного творчества, и эти поэтики должны войти в круг мировой литературы, где займут выдающееся место рядом с соответствующими произведениями Аристотеля, Горация, Витрувия, Буало и др. и будут несомненно способствовать начавшемуся уже возрождению интереса к вопросам теории поэтического творчества. Мы ограничимся лишь несколькими именами: полумифический Бхарата, творец теории драмы; Дандин, автор древнейшего дошедшего до нас «Зерцала Поэзии»; безымянный, увы, но тончайший и глубочайший знаток поэзии, творец теории о сокровенном ее смысле, и его комментатор, живший, как и он, вероятно в IX в., Ананда-

вардана. Я пропускаю ряд талантливых теоретиков и хочу только указать, что теория не умерла в Индии и с упадком поэзии: еще в XVII в., уже при владычестве Великих Моголов, индийский пандит — ученый Джаганната издает свою замечательную поэтику. Последние века не дали в Индии ничего выдающегося по теории поэтического творчества и гадать о возможности ее возрождения трудно, ибо оно, конечно, связано с общим возрождением страны.

Мы видим, что еще задолго до появления теоретических построений художественного творчества в Индии сложились уже определенные литературные формы; необходимо отметить, что эти формы претерпевали значительные изменения в связи с изменениями литературных вкусов, причем наряду с многими другими факторами три основных религиозных течения: брахманское, буддийское и джайнское тоже налагали свой отпечаток на писателей. Мы видим, например, что буддизм и джайнизм в своем желании подойти ближе к массам, сделать свою проповедь более общедоступной, не ограничивались одним санскритом, а прибегли к пракритам, многие из которых, благодаря обилию гласных и ассимиляции согласных, приобрели большую мягкость и часто и звучность, расширив таким образом кругозор поэтов по отношению к форме в звуке, дав и ряд краткостей и долгот гласных там, где они были неведомы санскриту. Поэты эпохи расцвета широко воспользовались этим и ввели пракриты в обиход драмы, а в значительной мере и в лирику и в повествовательную прозу. Необходимость говорить просто в проповеди, обращенной к народным массам, приучила буддистов сочетать красоту изложения с простотой и повлияла и в этом отношении на выработку литературных форм. Все это показывает нам, какой длинный и сложный путь был уже пройден индийской литературой, когда национальное возрождение в Индии, начиная с IV в. по Р. Хр. при династии Гупта, привело к удивительному расцвету поэзии, изобразительных искусств, музыки и науки. Расцвет этот был настолько поразителен, что некоторое время в науке существовало предста-

Литература Востока. Вып. I.





вление о каком-то возрождении индийской литературы; позднейшие исследования показали, что не было никакого перерыва в развитии, и что мы в праве говорить только о расцвете литературы, а никак не о ее возрождении.

Когда мы говорим об этой главной эпохе индийской литературы, то естественно мы называем, прежде всего, имя, которое уже давно приобрело на западе и у нас широкую известность,—Калидаса. Когда впервые английский перевод в конце XVIII в. познакомил удивленную Европу с знаменитою драмою Шакунтала, более известного у нас, как Сакунтала, то очарование ею охватило не только обыкновенных читателей, но и таких людей, как Гете, который посвятил ей восторженные стихи. Многие, конечно, в этих первых восторгах объясняется неожиданностью найти в стране, которую горделивые европейцы склонны были считать дикой, такие памятники литературы, и, действительно, мы видим, что теперь через столетие даже специалисты нередко отошли от этой высокой оценки поэта и склонны уже видеть в Калидасе и его произведениях отсутствие действия, силы и глубины. Но, думаем мы, этим специалистам следовало бы вдуматься в то, что захватило такие умы, как Гете, Гердера, Гумбольда, таких людей, как братья Шлегели, таких философов, как Шопенгауэр; им следовало бы, не увлекаясь чрезмерно своей западной точкой зрения, проникнуть глубже в индийский душевный мир, и тогда Калидаса и его драмы и поэмы откроют им многое, теперь для них недоступное: способность чувствовать и переживать то, что кажется таким неуловимым и как будто простым и даже, может быть, бледным, скучным и обыденным—бездейственным. Необходимо иметь в виду, что исследование индийской литературы, пошедшее сперва правильным и естественным путем широкого и разностороннего интереса к памятникам индийской древности, сошло затем с этого пути: открытие индийского мира и санскрита настолько расширило общие научные горизонты, что создало через сравнительное языкознание ряд сравнительных дисциплин, которые помогли, открыв сперва единство индоевропейского мира и побудив затем исследова-

телей искать и другие миры, открыть единое человечество. Недаром Шопенгауэр говорил о новом возрождении в XIX в. через познание Востока. И вот, надолго изучение санскрита вошло в русло практического его применения—для познания уже не Индии, а всего индоевропейского мира вообще. Началось с языка, перешло затем на мифологию и сравнительную историю религии, потом появилось изучение странствующих сказаний, странствование которых начиналось в Индии. Появился интерес к буддизму—как к мировой, а не только индийской религии, и мы чувствуем, что Индия, как таковая, все более и более отходит в изучении на задний план, и последствия немедленно дают себя знать. Наша задача коснуться этого явления лишь в области литературы, и мы, действительно, видим, что прежнее внимательное, любовное и самостоятельное изучение замечательной санскритской литературы оставлено и остановилось на полупути. Потому и возможны такие отзывы специалистов о Калидасе и индийской поэзии вообще, что прекратилось проникновенное и самостоятельное ее изучение, вне практических целей.

Когда говоришь об индийской поэзии и о ее великих мастерах, необходимо, прежде всего, устранить предрассудок, которым часто заражены, к сожалению, даже специалисты: принято считать эту поэзию только искусственной, потому что индийские поэтики говорят о науке поэзии, «которой надо учиться и которой можно овладеть лишь после долгого и упорного труда». «Наша идея о таланте писателя, прибавляют толкователи индийской поэзии, почти отсутствует». К счастью, такое западное понимание вполне односторонне. Для всякого уже и теперь ясно, что для истинного восприятия сложного и глубокого музыкального произведения, а тем более для его создания, не достаточно простого восторженного отношения к музыке, для понимания научного или философского трактата, и опять-таки тем более для его составления, необходимы знания. Это же самое Индия много столетий тому назад утверждала для поэзии. Без этой подготовки ни творить, ни воспринимать нельзя. Но это



только необходимое предварительное условие, столько же необходимое, как знание букв для чтения. Только после этой подготовки наступает время для творчества и для понимания, и здесь-то и обнаруживается талант или бездарность, получается или проникновенное произведение Калидасы или внешне искусное, но бездарное произведение простого слагателя правильных метрически стихов. Так, а не иначе понимала Индия поэзию и преклонялась перед своими гениями, забывая немощные потоги бездарностей.

Калидаса переводился много раз почти на все известные литературные языки. Особенно переводили Шакунталу, и все же мы не можем сказать, чтобы лица, не знающие санскрита, имели правильное представление о великом индийском поэте. У западного читателя нет еще той подготовки, которая необходима для этого понимания, ибо за отсутствием переводов с санскрита, а он слишком мало еще вчитался и углубился в своеобразную индийскую поэзию. Вот почему так особенно важны в настоящее время интереса к Востоку переводы, которые позволили бы глубже окунуться в этот своеобразный и чуждый пока западному человеку мир.

Мы не будем рассматривать в хронологическом порядке произведения санскритской литературы времени ее расцвета, ибо для этого потребовалось бы слишком много места, и такое рассмотрение мы и не имели в виду, но мы укажем и других писателей, наряду с Калидасой, автором драм и поэм, из которых более известно на западе «Облако-вестник», жемчужина индийской лирики, где Калидасой развита любимая его тема—разлука любящих. Прежде всего, укажем на предшественника Калидасы—Бхасу, драмы которого обречены нами, благодаря счастливой случайности, лишь в XX столетии в библиотеках юга Индии. Роман нашел талантливого представителя в лице Дандина, который в «Приключениях десяти принцев» нарисовал картину утонченной цивилизации на фоне фантастических, чисто сказочных приключений; исторический роман представлен «Жизнью царя Харши» Баны, по неизвестной нам причине не кончившего это

замечательное по своим описаниям произведение. Лирика, кроме Калидасы, нашла Амару и Бхартрихари и нежные пракритские строфы Халы. Мы берем эти немногие имена, но за ними стоят сотни и тысячи других поэтов, от которых иногда сохранилась одна только строфа, ради своей красоты включенная в какой-нибудь поздний сборник стихов. Губительный климат Индии разрушал книги с ужасающей быстротой, и если бы не пески средней Азии и горы Кашмира и Непала, то мы совершенно не знали бы старинных индийских рукописей, и много драгоценнейших санскритских книг погибло бы бесповоротно: в самой Индии муравьи и другие насекомые заканчивают быстро дело разрушения, начинаемое вьюною сыростью. Недаром же индийцы прибегали к камню и металлу для того, чтобы в надписях сохранять нам наиболее важные документы. Но лирика и, как мы говорили, даже драма, попадали лишь изредка на более прочный материал, чем березовая кора, пальмовый лист или бумага, и потому здесь наши потери особенно велики.

За Индией справедливо укрепилось название страны сказок—их в Индии действительно больше, чем где-либо, и индийская сказка бесконечно разнообразна. Не разрывающий, как мы, тесного общения с природой индеец—ведь и индийские города только большие деревни—непрерывно черпает из этого общения новые и новые темы, ибо для него все живет. Из этого моря сказок—сами индийцы называли один сборник «Море рек рассказов»—встает один сборник, которому было суждено после Библии стать одною из самых распространенных в мире книг, переведенною еще в средние века и переводившеюся и потом на все почти языки земного шара. Этот сборник в Индии назывался «Панчатантра», у персов, сирийцев и арабов — «Калила и Димна», у греков и у нас — «Стефанит и Ихниллат» и т. д. На его основе составился другой сборник «Полезное наставление» — «Хитопатеша», полный изящного и тонкого юмора.

Шли века; Индия щедро расточала свои духовные богатства по всей Азии: и на запад, и на восток, и на север, и на юг; буддизм распространял всюду общиндийскую культуру, и в связи с этим мы видим расцвет и буддий-



ской литературы: поэты излагают изящною прозою и стихами многочисленные рассказы о перерождениях Будды—джатаки, из них особенно прославился «Венец джатак» Джатакамала поэта Шура; глубокое и восторженное молитвенное настроение буддистов создало литературу вдохновенных гимнов, молитв и ряд поэм, из которых «Путь к святости» Шантидевы справедливо и до сих пор считается одною из популярнейших книг всего северно-буддийского мира. Таинственный будда западного рая «Блаженного» «Сукавати», будда «Беспредельного света» «Амитаба» вызвал к жизни тоже целую литературу, среди которой выдается «Лотос истинного закона», обширная религиозная поэма с ярким драматическим оттенком. Это был действительно «Свет Азии», который распространялся в ней из Индии.

Но как бывает, повидимому, в жизни народов, так же, как и в жизни отдельного человека, период творческого расцвета есть вместе с тем и начало упадка—организм не выдерживает напряжения. Индия продолжала и продолжает жить, являлись и являются в ней и духовные движения, выдвигаются отдельные таланты, появляются произведения, имеющие и мировое значение, но это только уже случайные вспышки. Так, например, в XII в. мы видим аллегорическую драму «Восход луны постижения», чрезвычайно оригинальную проповедь и восхваление вишнуизма. К тому же веку относится пламенная вишнуитская песнь песней «Гитаговинда» поэта Джаядева; о поэтике Джаганнатта в XVII веке мы уже говорили.

Распространение ислама вызвало сильнейшую борьбу между его прозелитизирующими стремлениями и индуизмом, привыкшим к свободе совести: ислам жег монастыри и храмы, разбивал статуи богов, которые для него были идолами, но не победил, а только стал одною из рядовых религий Индии, больше заимствуя здесь, чем давая. На границе ислама и индуизма развился ряд сект, пытавшихся примирить и сочетать оба религиозных течения. Мы видим здесь Кабира, прекрасные речения которого большею частью повторяют старинную брахманскую и буддийскую мудрость. До него и после ряд учителей и

святых проповедывали и проповедывают еще, и часто от их проповедей остаются яркие литературные следы.

Так шла и идет духовная жизнь Индии до наших дней, когда проповедывали в XIX веке Рам мохан Рой и Рамакришна, когда были попытки возродить чистоту старинной веры, и появилась целая литература гимнов и изречений. Но все это были бледные отблески старинной индийской красоты. Конечно, ее источники еще бьют в индийской почве—недаром же бенгалец Рабиндранат Тагор в самое последнее время очаровал Восток и Запад, но каково будущее мы не знаем. Каково бы, однако, оно ни было, то, что внесено уже Индией в духовную сокровищницу человечества, непреходяще и дает нам право говорить о выдающемся месте, занимаемом Индией в мировой литературе. И чем больше памятников духовного творчества Индии войдет в круг всемирной литературы, тем богаче и лучше она станет.

*Сергей Ольденбург.*



## АРАБСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

В представлении обыкновенного русского читателя слова «арабская литература» вызывают ряд очень простых и отчетливых образов—Коран, 1001 ночь, изредка «восточная» поэзия с ее изысканными метафорами и сравнениями, которые на самом деле характеризуют скорее персов, чем арабов,—вот едва ли не все, что вспомнится при этих словах. Специалисту придется сказать, что такая простота еще не доказывает простоты самого явления—здесь кроется только упрощение очень сложного факта, объясняемое малым знакомством с его историей. Специалисту будет трудно определить даже, к какому кругу литератур отнести арабскую. Беря племенной признак, проще всего было бы ее включить в литературы семитов; однако, беглый взгляд на ее идеологию и содержание покажет, что она связана теснее не столько с ассирийцами или евреями, сколько с персами и турками, народами различных племенных групп. Сузить этот признак и заявить, что арабская литература создана арабской нацией—значит совершить не менее крупную ошибку: своим развитием она обявана персам, писавшим по арабски, не меньше, чем самим арабам; в создании ее на ряду с семитами, как евреи или сирийцы, принимали участие турки, копты, даже берберы и испанцы. Сама она заняла место в мировой литературе, быть может, не столько благодаря своим национальным памятникам, сколько тем мировым произведениям, которые были переданы ей Индией, которые она сама старательно сберегла и вручила Европе. Обычно арабскую литературу считают мусульманской и в общих чертах это будет верно: главенствующая роль в области мусульманства навсегда обеспечена за ней основной книгой этой религии—Кораном.

Персидская литература в некоторых областях выросла под прямым влиянием арабской; на подражании им обем развилась и турецкая, и индустанская; соками ее питалась и письменность мусульманских народностей России. Но, при всем этом, считать арабскую литературу исключительно мусульманской было бы тоже упрощением. XIX и XX век мало-по-малу вскрыли пред нашими взорами картину средневековой арабской письменности у христиан;—этой стороной она роднится уже не столько с персами и турками, сколько с сирийцами и коптами или грузинами, вообще народами так называемого христианского востока. Арабская область не представляет здесь замкнутого религиозно-богословскими интересами круга: она не только жила полной жизнью среди своих единоверцев-христиан, но поддерживала постоянный духовный обмен со всем пестрым миром современного ей востока. Достаточно напомнить про такой благоуханный цветок духовной поэзии, как «Евангелие детства», сохраненное именно арабской литературой: отголоски его звучат и в Коране; достаточно взглянуть на религиозную поэзию арабов-христиан, где в причудливом сочетании сплелись типично-христианские мотивы с типично-мусульманскими формами. Невольно усложняя понятие арабской литературы, специалист отнюдь не из любви к парадоксам может сказать, что у него возникают колебания: куда отнести ее, к литературам востока или Европы. Такое колебание вызвано не средними веками, не пребыванием арабов в Испании или Сицилии, а современным положением этой литературы. Не только рядовые читатели, но и ученые специалисты до сих пор не замечают того факта, что за классическими образами Корана или 1001 ночи, которые в обычном представлении олицетворяют всю арабскую литературу, начинают вырисовываться новые необычные картины другой литературы—уже не мертвой, а живой, лихорадочно ищущей новых путей и новых форм для своей мысли все в том же арабском языке. XIX век влечет возрождение арабской литературы, вызванное непосредственным знакомством с западом, после французской экспедиции в Египет. Эта новая литература еще не создала



абсолютных ценностей для мировой культуры—она только ищет себя, но для арабского народа она уже сделала много. Перекидывая мост между востоком и западом, она преимущественно подражает последнему, пересаживая на свою почву те формы, которых не доставало ей в классическом периоде. И в этом смысле она скорее литература запада, чем востока. Исторические романы Зейдана, вызывающие восторг Фаррера, это не развитие старо-арабских героических эпопей, а подражание европейским образцам. Чуждый старым арабам театр при первых робких шагах в половине XIX века был обвешан мировыми памятниками Мольера. В известных отношениях ново-арабская литература ближе классической для европейского читателя: в ней он найдет и отголоски внякомых современному западу исканий и в то же время ключ к старому арабскому востоку.

Таков тот сложный рисунок, который может набросать специалист, если к нему обратятся с вопросом об арабской литературе. В причудливых иногда сочетаниях здесь скрещиваются разнообразные миры—семиты и иранцы, ислам и христианство, свои собственные классицизм и возрождение, восток и запад. Быть может, эта расплывчатая картина не удовлетворит человека, желающего получить отчетливую формулировку, но наука своими аналогиями подтвердит ему, что и в других областях на смену господствовавшему раньше упрощению выдвигаются более сложные формулы. Ведь сама жизнь—сложное явление и новая картина вероятно ближе к истине, чем прежняя искусственная и упрощенная схема.

Если потребовалось бы указать те образцы, которые наиболее ярко могут осветить весь фон, то, прежде всего, надо ограничить выбор и наметить его принципы. Арабская литература одна из богатейших в мире и невольно подавляет массой своих памятников. В ней, как и в других литературах древности или средневековья, иногда наблюдается еще синкретизм—она не вышла из того периода, когда отдельные виды литературного творчества уже обособились; все же именно в ней, быть может, чаще, чем в других, мы в состоянии отделить от изящной литературы письменность вообще, ближе соприкасаю-

щуюся и с реальной наукой, и с отвлеченным мышлением. Однако, проводить строго этот принцип здесь нельзя—картина будет не закончена, если мы совершенно исключим из поля зрения все памятники, которые по обычным понятиям не включаются в категорию беллетристики; изящество формы может быть только одним из критериев при выборе типичных образцов.

Два неоднородных количественно, не всегда равноценных качественно слоя предстают нашим взорам. Мы видим памятники мирового значения, которые или сыграли уже свою роль в истории единой общемировой литературы или по праву могут занять в ней место на ряду с другими творениями человеческого гения разных народов; с другой стороны, располагаются памятники национальные, которые, не всегда претендуя на мировое значение, характерны для самих арабов, для понимания их духовного уклада и всей жизни. В первой группе перед нами вырисовывается, прежде всего, Коран—эта «книга за семью печатями», созданная арабом и создавшая ислам, значение которого в истории всего мира давно определено самой жизнью.

На ряду с ним займут место так называемые «арабские сказки» 1001 ночи, которые своими истоками восходят к Индии, впитали не мало соков из персидского мира и вылились в окончательную форму уже в Багдаде и Каире. Не нужно напоминать, какую роль играли и играют эти сказки во всех литературах Европы с начала XVIII века; но еще задолго до этого отдельные элементы их проникали к разным народам не всегда ясными для нас путями. В Индию нас переносят и два других мировых произведения—животный эпос Калила и Димна, хорошо известный московской Руси под византийским названием «Стефанита и Ихнилата» и «душеполезная повесть о Варлааме и царевиче Иосафе», питавшая не одно поколение русских людей. Арабская литература справедливо гордится тем, что именно она сохранила ту форму обоих памятников, которая послужила прототипом большинства обработок на всех языках мира. Не меньшей распространенностью на Руси пользовалась и «повесть об Акире премудром»—этот обломок ассирийской старины, уцелев-



ший и в арабской оболочке. Наванные памятники известны были Европе в целом ряде различных версий и редакций, передававших содержание полностью; едва ли меньшее значение в мировой литературе сыграл ряд других, отдельные части или отрывки которых послужили семенами, заносившими сюжет на новую почву, где они давали новый росток, приносили новый плод.

Эпоха крестовых походов перекинула мост между востоком и западом; по нему тянулись в Европу отдельные звенья этих памятников, даже тогда, когда сами они полностью не переводились. По своему характеру эти сборники двойного типа—с одной стороны, попадают здесь различные «домострои», «княжьи зеркала», «наставления для правителей»—морализаторско-поучительные своды с иллюстрациями и примерами из самых разнообразных областей, чаще всего животного эпоса. С другой стороны, мы видим здесь же сборники бытовых рассказов, обыкновенно с эротическим оттенком, которые хорошо знакомы европейскому средневековью в виде различных фавло и новелл, восходящих часто именно к этим арабским рассказам. Арабская литература очень богата такими сборниками: они идут почти непрерывною цепью с классического периода Багдадской эпохи до монгольского нашествия и даже до времени Тимура. Создавались они, кажется, на всем протяжении арабского халифата, от Месопотамии до Испании или Сицилии—езде, где слышалась арабская речь. Эти сборники представляют переход к тем памятникам, которые мы можем назвать национальными; их составные элементы иногда относятся к сюжетам международного обмена, но в целом виде они возникли на арабской почве и на арабском языке.

Первое место в этой национально-арабской литературе займет поэзия и по обилию своих произведений, и по той роли, которую она всегда играла для арабского народа. Трудно себе представить тот культ слова и поэтической речи, который одушевлял арабов с незапамятной древности до наших дней. Только благодаря ему мы обладаем большим количеством поэтических произведений еще от древней до-исламской эпохи, рисуемой перед нами в живых и ярких чертах, со всеми деталями бедуин-

ской кочевой жизни. Мы видим, как постепенно на ряду с этой классической поэзией, скоро вносящей гнет известной традиции классицизма, зарождается поэзия городской, более утонченной жизни—появляется типичный мигнезанг, задолго до европейских миннезингеров, во главе с «величайшим певцом любви среди арабов», как характеризовал Рюккерт Омара Ибн-Абу-Рабиу. Смена обстановки и персидское влияние создают в Багдаде новые формы, которые находят благодарную почву у поэтов круга Харуна-ар-Рашида с центральной фигурой талантливого и распущенного скептика, «певца вина» Абу Новаса—этого арабского Гейне. Веком позже, на малоазийской границе халифата, промелькнет фигура Абу-Фираса, князя-поэта, в котором русский исследователь хочет видеть прототип византийского героя Дигениса Акрита; трогательные послания его из плена по праву заслужили сравнение с *tristia* Овидия. Еще одним веком позже в маленьком сирийском городке появится слепой литератор и поэт, пессимист Абуль Аля, один из немногих арабов, которые могли бы с достоинством занять место среди корифеев мировой поэзии и мысли. Сравнительная характеристика его и перса Омара Хайяма едва ли отдаст пальму первенства популярному в Англии и Америке поэту. Не только восток халифата, но и запад, особенно Испания и Сицилия, представлен целым рядом поэтов, отмеченных искрой дарования. Творения их иногда кажутся нам еще более близкими по духу: оказав влияние на развитие рыцарской поэзии в Европе, арабы запада сами не могли не подпасть под влияние той не арабской, но родственной нам среды, которую застали при завоевании латинского юга.

Не к такой седой древности, как памятники старой поэзии, относятся многочисленные рыцарские романы—едва ли не единственная форма эпического творчества у арабов; своими корнями иногда они и соприкасаются с до-исламским периодом, но литературное закрепление получили значительно позже. Все основные стадии в истории арабских племен нашли себе здесь отражение—и героический период древности, и расселение завоевателей в северной Африке, и борьба с франками—кресто-



носцами. Столь же популярны были среди арабов произведения совершенно другого типа, уже не народного, а чисто литературного и даже, если можно так выразиться,—кабинетного происхождения,—те макамы, живые сценки из жизни интеллигентного пролетариата, которые в форме драматизированных монологов рисуют народный быт в эпоху упадка. В них некоторые исследователи усматривают зародыши несвойственного арабам драматического жанра: театра в классический период арабы не знали и только занесенные с далекого востока «китайские тени» могут представить известную параллель к нашему Петрушке.

Картина арабской литературы была бы не полна, если ограничиться произведениями только изящной словесности. Прежде всего, нужно упомянуть о целом ряде историко-литературных работ и различных антологий, в которые вкраплен и чисто-беллетристический материал. Знаменитая колоссальная «Книга песен» Алиа Исфганского, в живых очертаниях отражающая арабский быт за несколько веков,—только один из многочисленных примеров. Испанский богослов и философ Ибн-Хазм сумел иллюстрировать свой психологический этюд о любви и влюбленных такими яркими картинками жизни и литературы, что его затруднительно было бы отнести к строго определенной категории.

Всемирная литература не должна быть лишена и целого ряда историков, передававших свой материал не в сухом летописном изложении: «Золотые луга» аль Масуди дают представление о всеобщей истории в концепции арабов еще живее, чем основанные в значительной части на староперсидском романтическом материале «Длинные истории» Абу Ханифы. Автобиография сирийского князя Усамы переносит в эпоху крестовых походов, рисуя не только борьбу востока и запада, но и мирные их сношения в тот период, когда во главе человеческой культуры стояла Азия, а не Европа. Нельзя исключить из арабской литературы и бессмертное введение в историю африканца Ибн-Хальдуна; он за 4 века до итальянца Вико формулировал принципы философии истории и социологии с такой проникновенностью и обосно-

ванностью, которая могла быть достигнута в Европе только в XIX веке. Помимо исторических сочинений, целый ряд географических характеризует не столько науку, сколько сказочную литературу; это, с одной стороны, хорошо известные средневековой Европе разнообразные космографии, «бестиарии» и «физиологи», с другой фантастические путешествия в стиле Синдбадовых скитаний, включенных в 1001 ночь. Популярная среди арабов дидактическая литература должна быть неизбежно привлечена для оценки их идеологии. Пословицы с отражением мировой общечеловеческой мудрости доведут нас до той же седой древности, как и ранняя поэзия; трактаты Ибн-аль-Мукаффы, переводчика Калилы и Димны,—считающиеся образцом арабского прозаического стиля, познакомят с отражением персидского мировоззрения; арабская обработка Эзоповых басен, приписанная легендарному мудрецу Локману, так же характерна для арабов, как отражение Эзопа в литературах Европы. Часть этических трактатов подводит нас уже к области философии—выдающееся значение здесь имеет 50-томная энциклопедия «Чистых братьев», тайного союза мусульманских идеалистов, основанного в Басре, но распространившегося по всему арабскому миру. Имеется у арабов и свой «город-утопия», связанный с именем философа аль-Фараби, имеется и свой «Эмиль»—философский роман испанца Ибн-Туфейля, рисующий развитие «естественного» человека из младенца, заброшенного на необитаемый остров. Мистика, привитая арабской письменности извне, находила убежденных приверженцев не только среди таких философ-богослов, как известный в Европе аль-Газали, но и не менее известный Авиценна, бывший в то же время и врачом, и математиком.

Трудно и едва ли нужно перечислять все арабские произведения, которые следует знать всякому, желающему составить себе понятие о «всемирной» литературе в настоящем смысле слова. Непрерывной цепью они тянутся не только за период расцвета, но попадают отдельными оазисами и через несколько столетий позже. Лишь с XVIII веком творчество вамирает окончательно и только в XIX опять занимается заря новой эры—той, которая,



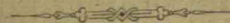
вероятно, более всего заинтересует любителя современной мировой литературы.

Подход к этой новой литературе будет не таков, как к древней и в глазах специалиста, и простого читателя. Древняя по самому своему существу является классической: она рисует раскрытие человеческого духа на одной из высших ступеней его развития, и в этом смысле не менее, чем греко-латинская, имеет абсолютное значение и теперь. Ее абсолютная ценность и оригинальность с европейской точки зрения обуславливает для нас возможность непосредственного эстетического восприятия в такой же мере, как у любой европейской литературы. Арабское средневековье составляет, кроме того, одно из существенных звеньев в истории общечеловеческой культуры: изъять его, не разрушив всю цепь, нельзя. Обращаясь к нему, человек удовлетворяет только естественный интерес и влечение к своему собственному прошлому. Другую картину представит собой ново-арабская литература; она нова лишь постольку, поскольку проходит под знаком европейского влияния; оставаясь в известных областях традиционной, она только подражает более или менее удачно великим образцам своего прошлого. По языку новая литература принадлежит востоку, по существу—западу; для европейцев, обладающих богатой сокровищницей своих литератур, она не так интересна и ценна, как древняя. Значение ее характеризуется двумя лозунгами—жизнь и борьба. Древняя завершила свое развитие: она мертва в том смысле, как мы говорим о мертвых языках; ее эволюция прошла не на наших глазах и мы не можем ее отчетливо осязать, как в новой. Здесь—жизнь течет без остановки, развивается иногда болезненно, иногда искусственно, но всегда остается в поле нашего зрения. Ее проникает элемент борьбы, столкновение целого ряда начал, затуманенных для нас прошедшими веками в древней. Мы видим зарождение нового духа, проникновение европейских форм арабской сущностью, которая оказывается сильнее, чем можно было ожидать по слепой подражательности, характеризовавшей начало новой арабской литературы. XIX век выдвигает не только новые течения в поэзии, он вызывает к жизни не существовавшие раньше

формы: появляется роман и повесть, возникает театр, живое общественное движение создает колкую сатиру, яркую публицистику и богатую периодическую прессу. XX век, особенно благодаря усилившейся эмиграции в Европу и Америку, переносит на арабскую почву последние течения в области литературного творчества, которые находят отклик в классических странах 1001 ночи. Не нужно говорить, что творчество «великого писателя земли русской» докатилось волнами до берегов Сирии и Египта: здесь нашлись не только его переводчики, но и последователи. Можно отметить, что даже «певец грядущей демократии» Уот Уитмэн, который, по словам его исследователя, до последнего времени оставался чуждым русскому читателю, в начале XX века разбудил родственные струны в душе одного арабского поэта, создавшего ряд подражаний ему.

В какие рамки выльется это возрождение арабов, можно ли от него ожидать новых ценностей для общечеловеческой сокровищницы—судить, конечно, трудно и рано. Несомненно, одно—следить за непрерывным ростом человеческой души, который проходит пред нашим взором на всем протяжении арабской литературы с VI до XX века—одна из благороднейших задач для мыслящего существа. Эта работа с полной наглядностью говорит нам о единстве человеческого рода в высших проявлениях его духа. Путеводным светящимся маяком вырисовывается пред нами эта истина—более яркая, хотя и более далекая, чем идея объединения народов через сближение их отдельных слоев.

*И. Крачковский.*





## ЛИТЕРАТУРА ТУРЕЦКИХ НАРОДОВ.

### I.

К началу нашего летосчисления турецкий мир занимал часть степных пространств Центральной Азии вокруг Алтайской горной системы и эту систему и представлял собою неустойчивую, подвижную массу скотоводческо-кочевых и звероловно-бродячих племен, соседями которых являлись на западе—финны, на севере—самоеды и другие обитатели Сибири, на востоке—монголы и тунгусы, все народы, в той или иной степени, близкие к туркам по своему культурному состоянию, как и турки, неустойчивые и подвижные.

Два мира с развитой культурой граничили с турками на юго-востоке и юге: китайский и иранский, два крупных звена цепи старых культур трех материков Старого Света, старых культур, которые не могли не просачиваться и просачивались в девственную массу турецких кочевников на заре их истории.

Как один из элементов человеческой лавины, породившей великое переселение народов, турки влились в IV веке чрез Каспийские Ворота в степи Восточной Европы и пришли в соприкосновение, главным образом, с миром славянским, с Кавказом и Византией.

Присутствие в составе населения царств гунского, болгарского, хазарского турецких элементов не подлежит сомнению. Царство болгарское возникло на развалинах гунского, а хазарское—на развалинах огузского, или турецкого, в исходном племенном, еще не общенациональном значении этого имени.

Огузско-турецкое царство образовалось в Средней Азии в VI веке и до своего распада к VII веку на две части простиралось от восточных пределов нынешней Монголии до северных берегов Черного моря. Сокрушившие восточную часть этого царства уйгуры — один из турецких народов — основали свое царство в нынешнем Восточном или Китайском Туркестане, по соседству с Китаем, Тибетом, Индией и Ираном, царство, просуществовавшее, все уменьшаясь в своем объеме, до XIII века.

Земледельческо-оседлая культура и городская торгово-промышленная жизнь получили у турков впервые значительное развитие на западе—в царстве камском булгаров, на востоке—в уйгурском царстве. Мусульманство, почитаемое ныне национальным достоянием, за малыми исключениями, всего турецкого мира, стало заметно в нем внедряться на протяжении от Волги до Кашгара с X века, укрепляясь лишь в местах с земледельческим и городским населением, и крайне поверхностно, притом не всюду, касаясь кочевых масс, которые веками продолжали по-старому одухотворять природу, верить в добрых и злых духов и сноситься с ними чрез кудесников-жрецов, шаманов. В Хазарии ислам застал господство иудейства и христианства, в Западном и особенно Восточном Туркестане—буддизма, манихейства и христианства преимущественно несторианского толка. Буддизм на столетия задержал успехи мусульманства в недрах Восточного Туркестана. Христианство существовало в Семиречье и южно-русских степях еще в XIV веке. Среди турков Сибири ислам стал крепнуть в постемонгольские времена и никогда не проникал восточнее бассейна Иртыша.

К XI веку турки положили конец господству иранских элементов в Западном Туркестане и начали под знаменами династии сельджукидов массовое движение на юго-запад, в Персию и Малую Азию, куда отдельные их дружины и группы рабов и пленников попадали и ранее. Служа при дворах мусульманских правителей, турецкие дружинники и рабы выдвигали из своей среды талантливых полководцев и администраторов, которым иногда удавалось



основывать собственные династии. Первая мусульманско-турецкая династия, Тулунидов, возникла в IX веке в далеких от среднеазиатских степей Сирии и Египте. Сын турка-раба основал в конце X в. в восточном Иране династию Газневидов, при которой было положено прочное начало мусульманского владычества в Индии.

Возникновение в XIII веке необъятной монгольской империи Чингиз-хана, своими успехами весьма обязанным входившим в ее состав турецким кочевым ордам и культурному уйгурско-турецкому царству, так или иначе отразилось на судьбах турецкого мира во всем его объеме, и карта расселения турецких народов получила современные нам очертания в значительной степени в связи с так называемым татарским нашествием. Татарами именовались монголы, и от них это имя перешло на бывших монгольско-подданных турков, смешавшихся с монголо-татарами, но сохранивших турецкий язык. При монгольском владычестве начала было создаваться единая мусульманско-турецкая культура, расколовшаяся вслед за распадом монгольской империи и вследствие образования в Малой Азии в XIV веке нового турецкого государства—Османского—на две главные части: среднеазиатско-турецкую и малоазиатско-турецкую, которые скрещивались в Азербайджане, в Крыму и позднее—в Поволжье.

Скотоводческо-кочевой быт развил у турков родовой строй, воспитавший в них крепкую общественную дисциплину. Привольная степная жизнь выработала из них ловких, смелых, неутомимых и предприимчивых наездников-воинов. Пастуху и джигиту, возложившему черный домашний труд на женщину и раба и привыкшему располагать большим досугом для забав и беззаботной праздности, в самых мрачных красках рисовался прикрепляющий к месту, лишающий свободы и требующий длительного напряжения труд землепашца, купца и ремесленника. Конфликты между степняками и их соседями на почве борьбы за существование не раз делали турков обладателями культурных стран, но эти военные победы оканчивались культурным поражением, подчинением культуре побежденных народов. Турецкие массы оставались в невежестве и, крайне медленно, с неохотой, приспособлялись к

новым условиям жизни, высшие же классы лишь усваивали, верно хранили и порою щедро приумножали чужие культурные достижения. Всюду и всегда турки в культурном отношении являлись подражателями. С X века турки постепенно становятся главной и надежной опорой мусульманства на Среднем и Ближнем Востоке, духовное превосходство, однако, удерживается и впредь за персами и арабами. Памятники религиозного зодчества сельджукидов в Малой Азии, мамлюков в Египте, великих моголов в Индии и тимуридов в Туркестане, блестящим образом свидетельствуют поныне о просвещенном покровительстве турецких владык мусульманскому искусству. Апогея своего развития подражательные среднеазиатско-турецкая и османско-турецкая культуры достигли первая—при Тимуре Хромом (Тамерлане) и его потомках, вторая—при Сулеймане Великолепном и его ближайших преемниках (XV—XVI вв.).

В результате своей длинной и сложной истории турецкий мир, занимающий ныне обширную территорию от Якутского края чрез сопредельные страны Азии и Восточной Европы, до Средиземного моря, обнаруживает богатое разнообразие в отношении физического типа, и языка, и этнографического быта и культурного состояния, как в силу местных природных условий, так и вследствие большего или меньшего смешения с различными народами.

Ислам давно занял в турецком мире главенствующее положение. Буддизм ютится в укромных уголках: у сары-уйгуров на границах с Внутренним Китаем и Тибетом, у сойтов в Урянхайском крае по соседству с монголами и на Алтае в виде новой секты бурханистов. Христианство усвоено более или менее внешним образом, так называемыми крещеными татарами и чувашами в Поволжье, якутами, енисейскими и алтайскими турками в Сибири. Европеизм направляется из Западной Европы преимущественно к османцам и из России к большинству остальных турецких народов. Наши университеты и другие высшие учебные заведения, не говоря о средних и низших, пропустили чрез свои аудитории и лаборатории зна-



чительное число представителей турецкого мира обоего пола.

Отзвуками европейских идей империализма и национализма в мусульманско-турецком мире являются течения панисламское и пантурецкое, из коих первое поддерживается преимущественно клерикальными кругами, а второе—светской интеллигенцией. Наибольших реальных результатов достигло пока третье течение, так сказать, краевое, выдвигающее на первый план поднятие культуры и просвещения у отдельных турецких народов, соответственно с местными потребностями и средствами и в местном национальном духе. В ближайших к Европе частях турецкого мира, главным образом, в промышленных пунктах Поволжья и Кавказа, получает распространение социалистическое учение.

Главнейшими самодовлеющими частями турецкого мира являются: Османская империя, Крым, Северный Кавказ и Дагестан, Восточное Закавказье и Азербайджан Персидский, Туркестан, Степной Край или Казахстан, Поволжье и Западная Сибирь, чуваша, якуты, алтайские и енисейские турки. Относительно передовыми в культурном отношении надлежит считать османских турков, поволжских татар и закавказских азербайджанцев, наиболее отсталыми—туркестанцев.

Общим для всех турков-мусульман национально-культурным центром является Константинополь, за судьбою которого с болезненной чуткостью следят от Касимова до Хотана, от Тобольска до Батума. Немало и более или менее значительных местных центров: Тавриз, Баку, Темир-Хан-Шура, Бахчисарай, Казань, Уфа, Оренбург, Троицк, Семипалатинск, Ташкент, Самарканд, Хива, Кашгар и другие.

## II.

Первую свою письменность, о которой знает история, турки получили от иранского народа согдийцев, жившего в древности на территории нынешнего Туркестана, Западного и Восточного, и приспособившего к своему языку один из семитических алфавитов. Письменность эта, время

появления и исчезновения которой у турков точно неизвестно, представлена, главным образом, эпиграфическими памятниками Минусинского края по Енисею в Сибири, долины реки Орхона в Монголии и некоторых других мест, а также немногими рукописными отрывками, найденными недавно под песками Китайского Туркестана. Датированные памятники относятся к VIII веку, к концу царствования огузско-турецких каганов. Письмена известны в Европе под именем енисейско-орхонского алфавита или турецких рун. Выработанный позднее согдийцами из того же семитического алфавита другой вид письмен получил широкое распространение в царстве уйгурском, а от уйгуров был заимствован в XIII в. монголами, от которых современем перешел к манджурам. Древние памятники уйгурской письменности, дошедшие до нас в большом количестве, принадлежат религиозной переводной литературе, преимущественно буддийской, а также манихейской и христианской.

Мусульманско-турецкая письменность с применением арабского алфавита зародилась, по соседству с уйгурской, в Восточном Туркестане при первой мусульманско-турецкой династии в Средней Азии, просвещенных Караханидах, в XI веке. Автор первой мусульманско-турецкой книги, дидактического сочинения в стихах «Мудрость сделаться счастливым» (Кутадгу-билиг)—Юсуф получил за свое об'емистое произведение придворную должность. Покровительство литературе и вообще искусствам и наукам, то искреннее, то из честолюбия, было одной из традиций, воспринятых турецкими владыками с исламом. Эта традиция, в значительной мере, определявшая дух господствующей литературы, сохранилась до наших дней, например, у ханов хивинских. Влияние произведения Юсуфа можно усмотреть в стихотворном романе XIV века «Ферхад и Ширин», написанном на смешанном уйгурско-половецком языке в Египте при мамлюках. В качестве придворной моды уйгурский алфавит применялся до XVI века и мусульманско-турецкими писателями на территории бывших монгольских владений.

До укрепления Османской державы и до наступления в Туркестане и Персии господства тимуридов, то-есть до



XV века мусульманско-турецкая литература не дифференцировалась резко по национально-культурным областям и не достигала крупного развития. К XVI веку пышно расцвели, чтобы затем погрузиться на столетия в неподвижное состояние, чагатайская литература в Туркестане и османская в Малой Азии и на Балканах. До середины XIX века в Турции и, до наших дней, в Средней Азии — художественная литература была представлена, главным образом, поэзией с неизменной печатью зависимости от персидских классиков и с преобладанием вычурной формы над содержанием и чувством. Наиболее распространенными видами поэзии были лирические однорифмные стихотворения-газели и стихотворения поэмы-месневи из двустиший. В поэзии всяких видов, так или иначе, находил отражение мусульманский мистицизм (суфизм, дервишизм). Стихотворная форма придавалась иногда и далеким от художественной литературы произведениям, например, религиозно-нравственным наставлениям, хроникам и даже словарям. При господстве старой литературной традиции прозой писались богословские и иные научные сочинения, исторические труды, мемуары, собрания занимательных и поучительных анекдотов. Крупнейшим писателем для всего мусульманско-турецкого мира старого периода был министр гератского тимурида-мецената мирзы Хусейна-Байкара Мир-Али-Шир Неваи, никем из турков не превзойденный мастер стихотворной техники, автор многочисленных газелей, месневи, четверостиший и разнообразных прозаических произведений (XV в.). Его старшим современником был талантливый поэт, гератец Лутфи. Видное место в чагатайской литературе принадлежит также прозанку и поэту Бабуру, основателю империи великих моголов в Индии, уроженцу Ферганы, автору замечательных мемуаров и собрания мелких стихотворений, отмеченных истинно-поэтическим даром. Широкой всеобщей известностью в мусульманско-турецком мире пользуется, кроме Неваи, багдадец Фузули, отуреченный курд, воспитанный на арабской, персидской, османской и чагатайской литературах, писавший на османском языке с чагатаизмами и азербайджанизмами и почитаемый азербайджанцами

за родоначальника их скромной областной литературы. Преобладание чувства над формой отличает Фузули от Неваи. Несравненно количественно более богатая, чем чагатайская, османская изящная литература старого периода не дала ни одного имени, равного по известности Фузули и Неваи. Наиболее выдающимися лириками признаются Неджати (XV в.) и Баки (XVI в.), прозванный царем поэтов. Из авторов поэм крупнее прочих Ахмеди, Шейхи, Хамди (XV в.), Лямии (XV-VI в.). В ряде османских поэтов старого времени выдающееся место принадлежит Михри-хатун, лирику начала XVI века.

К менее распространенным видам старой мусульманско-турецкой поэзии относятся хвалебные оды и сатиры, образцы которых находим преимущественно в османской и азербайджанской литературах. Особенно известны османские сатирики XVII века Вейси и Неф'и, бичующие порядки вступившей уже в полосу упадка родины.

Исторические и этические произведения османской литературы дают образцы прозы все усложняющегося вычурностью языка и размерами периодов стиля. Достаточно упомянуть перевод персидского извода басен Бидцай, под заглавием «Хумаюн-намэ» Але-челеби Васи и «Эхляки-алян» (Превосходнейшие нравы) Кынналызаде, два произведения XVI века. Стихотворные книги поучений типа Домостроя оставили писатели XVIII—XIX вв. Наби и Вехби.

К категории немногочисленных турецких произведений, представляющих широкий интерес, следует отнести рядом с мемуарами чагатайца Бабура описание путешествий по Азии и Европе побывавшего и в России османского туриста и дипломата XVII в. Эвлия-челеби.

Хотя водворившиеся в Средней Азии с XVI века узбекские династии не были чужды меценатства, все же чагатайская литература в послетимуридскую эпоху зачахла. Слабые подражатели поэтам золотого века не переводились до наших дней, но не производили ничего, достойного особого внимания. Плетью поэтов был окружен кокандский хан и поэт XIX в. Омар, традиционно покровительствовала поэзии кунградская династия в Хиве до на-



ступления переживаемых нами тяжелых событий, среди которых погиб сын поэта и сам поэт, хан Эсфендиар.

На границах скрещения среднеазиатско-турецкой и османской культур, в Азербайджане и Крыму зародились, при поддержке и участии местных династий турецкого происхождения сефевидов (XVI в.) и гиреев (XV в.), азербайджанско-турецкая и крымско-татарская литературы, не получившие сколько-нибудь значительного развития за период господства старой литературной традиции; в обеих возобладало османское влияние.

Широкие народные мусульманско-турецкие массы непосредственного доступа к сокровищнице национальных литератур, конечно, не имели, творцы этих литератур с интересами масс не считались. Однако, чем более народные массы исламизировались, тем более под воздействием устного общения с духовенством, со странствующими дервишами и с переходящими с места на место полуграмотными певцами-ашиками и рассказчиками-меддахами они воспринимали, на подобие крох от трапезы богатого, более или менее определенные отзвуки некоторых видов литературы. Эти воздействия оставляли постепенно все более и более глубокий след на степном народно-словесном творчестве, заменяя в нем степные элементы сложными элементами мусульманской культуры. Лирические песни уподоблялись газелям, эпические поэмы окрашивались в тоны романов-месневи, шаманские причитания вытеснялись мусульманскими стихотворными правоучениями.

Исторические песни приняли форму дестанов у переднеазиатских турков, форму бейитов у поволжских татар; в этих произведениях повествуется то в сочувственном духе, то с оттенком сатиры, о злободневных событиях государственных, общественных, частных. Азербайджан и Малая Азия являются родиной широко ныне во всех частях мусульманско-турецкого мира распространенных народных романов, из коих самым знаменитым является роман про разбойника-певца Кьор-оглы. Весьма также популярен роман про малоазиатского борца за веру с неверными византийцами, армянами и другими Сейнд-Баттали. Роман про Юсуфа и Ахмеда, или Боз-оглана, туркменского происхождения, также можно слышать в самых проти-

воположных пунктах восточной части мусульманско-турецкого мира. В Турции и Крыму распеваются песни Ашик-Умера, среди туркмен Средней Азии—песни Махтум-кули, среди сартов—песни Диванаи-Машираба, Суфи Алла-Яра и проч. Всюду известны анекдоты малоазиатского юродивого ходжи Насреддина.

Нашли уже отзвук в народных массах некоторых мест и новейшие европейские влияния на турецкие литературы. Так в 1916 г. в Крыму распевали, как татарскую песню, перевод стихотворения К. Р. «Умер бедняга в больнице военной».

Ныне нет ни одной мусульманско-турецкой литературы, на которой в той или иной степени не сказалось бы освежающее и возрождающее европейское влияние. Влияние это проявляется двояко: в виде переводов с европейских языков и в виде подражаний европейским авторам и литературным течениям, в том числе—национальному. В Турции преобладает непосредственное влияние западно-европейских литератур, среди российских мусульман—русской и ново-османской.

Начало нового периода в истории мусульманско-турецких литератур ознаменовалось очень крупным событием: зарождением поволжско-татарской литературы, успевшей в короткий срок занять среди своих сестер весьма почетное место. До середины приблизительно XIX века поволжские татары питались преимущественно старыми произведениями литератур чагатайской и османской, своих же авторов, за исключением богословов, почти вовсе не имели. К началу второго десятилетия XX века стала явственно обозначаться юная, еще хрупкая, но многообещающая литература киргиз-казацкая. Пробуют создавать собственную литературу закаспийские туркмены и дагестанские кумыки.

Важными отличительными признаками нового периода мусульманско-турецких литератур являются: упрощение литературного языка чрез сближение его с разговорным, усвоение новых видов литературных произведений, прежде всего драматических пьес, повестей и романов по европейскому образцу, значительное сокращение роли поэзии и попытка реформировать метрику в духе родного языка,



с устранением чуждой арабско-персидской системы, сближение литературы с жизнью и установление равновесия между формой и содержанием.

Османская литература обязана своим обновлением влиянию, прежде всего и главным образом, французской литературы. Английское и немецкое влияние сказались на ней значительно слабее. С Россией и русской литературой османцы знакомились преимущественно чрез французскую литературу, но некоторые русские произведения переводились на османский язык непосредственно российскими мусульманами и русскими людьми, как О. С. Лебедевым, В. А. Гордлевским. По переводам османцы знакомы с творениями Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Грибоедова, Тургенева, А. Толстого, Гаршина, Чехова, Андреева, Горького и др. Особенно интересовались османцы Львом Толстым.

Углубить русло собственной оригинальной литературы османцам не удастся. Они продолжают оставаться подражателями прежде всего, с тою разницею, что в их чувствах и мыслях место малоподвижной Персии занято Европой, неутомленной в своих исканиях.

Среди немногочисленных писателей-народников выдвинулись прозаики М. Тевфик, Набизаде Назим, поэты Мехмед Эмин и Риза Тевфик.

Наиболее крупные фигуры из ново-османских писателей принадлежат старшему их поколению; это—драматург и романист Намык Кемаль-бей; черкес родом Ахмед Мидхат, автор многочисленных рассказов, романов, театральных пьес и других произведений; весьма популярный прозаик и поэт Абдул-Хакк Хамид-бей, лирик Махмуд-Экрем. Учеником последнего считал себя умерший во время последней войны Тевфик Фикрет, самый блестящий из современных османских поэтов, подражатель Мюссе и Ламартина, Бодлера и Верлена, литературный критик и автор статей по поэтике.

Новейшие прозаики и поэты националистического, пантурского направления, горячие мечтатели о былом могуществе воинственных кочевых турецких орд и о создании единой крепкой и свободной турецкой нации, группировались последнее время вокруг издателя кон-

стантинопольского журнала «Турк йурду», поволжского татарина Юсуфа Акчурина.

На ново-османской и русской литературах воспитались творцы литературы поволжско-татарской, количественно менее богатой и внешне менее эффектной, чем ее старшая сестра, но несомненно более ее почвенной, глубокой и демократичной.

Виднейшими пионерами самостоятельной поволжско-татарской литературы были деятели средины XIX века: историк Марджани и популяризатор европейских знаний Каюм Насыров. Беллетристика в виде повестей, романов и театральных пьес служила первое время только рупором для распространения культурных идей и для борьбы с невежеством и темным фанатизмом. Из крупных литературных сил, наметившихся к концу XIX века, Риза-казы Фахреддинов специализировался впоследствии, как историк и биограф, Фатих Каримов—как публицист, а Гаиз Исхаков выдвинулся на первый план в качестве создателя нового, близкого к народному, литературного языка и основателя школы реалистов-народников. Расцвет поволжско-татарской литературы начался после 1905 года, которым датируется первая крупная вспышка национально-культурного пробуждения российских мусульман. В повестях, романах, драмах, комедиях увековечиваются быт татарской бурсы, невежество и фанатизм старозаветного духовенства, бесправное положение женщины, борьба новых веяний с упорствующей стариной и между собою. Произведения Амирханова, Галимджана Ибрагимова и других обнаруживают постепенное совершенствование художественного стиля, расширение и углубление содержания изящной прозы. В области поэзии выделяется вольный певец личных настроений и переживаний, грустный мечтатель Рамеев. Огромную популярность приобрел рано умерший Абдулла Тукаев, начавший со служения панисламизму в стихах, по форме и языку близких к старо-чагатайским и старо-османским образцам, и кончивший звучными, зажигательными песнями в духе татарского и отчасти пантурского национализма на языке онародненном и в формах, свидетельствующих о влиянии русских поэтов с одной стороны и родных народных песен—с другой.



Революционной поре посвящено небольшое собрание стихотворений Меджида Гафури—«Красное Знамя».

Поволжско-татарская литература развивается на наших глазах, и пока еще трудно характеризовать ее с достаточной определенностью. Она распространена всюду, где живут поволжские и западно-сибирские татары, а также среди касимовских татар, мецераков, башкиров, киргиз-казаков. В народные массы идет преимущественно лубочная литература, в которой за последнее время значительное место занимают песенники.

Ново-азербайджанская литература создавалась, главным образом, в Закавказском, а не Персидском Азербайджане, имея своими центрами Баку и Тифлис. Бедность культурными силами сравнительно с Поволжьем и близость Турции с ее богатой литературой, более доступной по языку азербайджанцам, чем поволжским татарам, вот причины того, что ново-азербайджанская литература не достигла такого развития, как поволжско-татарская, и что в ней переводческая деятельность возобладала над оригинальным творчеством. Кроме османской литературы, в Азербайджане пользуется широким распространением персидская литература, в виду связи обоих Азербайджанов с Персией, связи культурной, закрепленной на известное время единством вероисповедания по шиитскому толку. Переводят с персидского, с арабского, с русского. Из крупных переводных произведений необходимо отметить исторические романы арабского писателя Зейдана. В области оригинальных произведений первое место занимают лирические стихотворения, сатиры и театральные пьесы.

Первым по времени азербайджанским драматургом был Мирза Фатали Ахундов, писавший также стихи и повести, получивший в первой половине XIX века одновременно, и восточное, и русское образование, и занимавший главенствующее положение среди пионеров ново-азербайджанской литературы. Из последующих драматургов особой плодотворностью отличался Наджаф-бек Везиров. В своих комедиях и водевилях азербайджанские авторы высмеивают отсталость своего народа и его руководителей: духовенство и помещиков-беков.

Другим орудием высмеивания и бичевания является сатира; ей отводятся специальные журналы, из коих широкой и заслуженной известностью пользуется иллюстрированный «Мулла Насреддин». В азербайджанской литературе принимали участие, кроме турок-азербайджанцев, армяне и другие кавказцы.

Весьма слабо развивается новая литература у крымских татар, по тем же двум причинам, что и у азербайджанцев. Крупнейший культурный деятель всего мусульманско-турецкого мира и особенно российской его части на грани XIX и XX столетий, Исмаил-мирза Гаспринский, имя которого известно и мусульманам не турецкой национальности, в Египте, в Индии, принадлежа к крымским татарам и живя в Бахчисарае, работал по просвещению и объединению всех мусульманско-турецких народов и определенно не сочувствовал развитию отдельных турецких культур и литератур. Немногочисленные местные литераторы занимались преимущественно переводами на упрощенный османский язык, и только в виде исключения на степное крымско-татарское наречие небольших произведений русских, главным образом, писателей: Крылова, Пушкина, Гоголя, Л. Толстого, Мамина-Сибиряка, В. Шуф, Данилевского и др.

Сравнительно много работал и на литературном поприще Осман-Нури Акчокраклы и Айвазов. Большой успех имело собрание стихотворений-песен в народном духе Хусейна Токтар-газы «Вопль Крыма». В народном же духе писал погибший в дни революции поэт Челеби-джан. Сейид-Абдулла Озенбашлы выступил с небольшой комедией «Чему быть, того не миновать». Темнота народная, безземелье, тяжелая женская доля—вот главнейшие темы оригинальных крымско-татарских произведений.

Родоначальниками молодой киргиз-казацкой литературы почитаются Кунанбаев и Алтынсарин. Оба жили во второй половине XIX века. Первый пристрастился к литературе благодаря знакомству чрез политических ссыльных с русской литературой; переведенное Кунанбаевым «Письмо Татьяны» было поведено киргиз-казацкими певцами всей степи. Алтынсарин получил русское образование, служил педагогом, сочинял оригинальные стихо-



творения и перевод басни Крылова. Соседство поволжско-татарской литературы на западе и старо-чагатайской на юге задерживало и продолжает задерживать развитие у киргиз-казаков собственной литературы, в которой особенно нуждаются по мере распространения грамотности народные массы. Только спустя несколько лет после памятного для всех российских мусульман 1905 года киргиз-казацкая литература на общепонятном для народа языке начала принимать вполне отчетливые формы. В Оренбурге, Троицке, Семипалатинске, Уральске, Ташкенте появляются киргиз-казацкие газеты и журналы. Художественная литература представлена преимущественно поэзией, которой так богато народно-словесное киргиз-казацкое творчество. Особо деятельное участие в литературе принимают Ахмед Байтурсунов, реформатор правописания и талантливый переводчик басен Крылова, затем Мир-Якуб Дулатов, прославившийся сборником стихотворений под заглавием «Проснись, казак!» и Худайберди Джангиров, тяготеющий к чагатайской литературе.

С большим запозданием сравнительно с прочими мусульманско-турецкими литературами начинается обновление литературы среднеазиатско-турецкой, и все только еще начинается. Стих попрежнему господствует над прозой, стих по форме старый, но постепенно переходящий на служение новым идеям. Идеи эти идут с Поволжья, с Кавказа, из Крыма, из Турции, от русских. Разнообразие влияний сказывается на литературном языке, вступающем в переходное состояние бесформенной более или менее смеси. Из местных деятелей по обновлению литературы выделяется ходжа Бехбуди в Самарканде, пишущий и по-турецки, и по-персидски, издатель журнала «Зерцало», автор одной из первых по времени театральных пьес «Отцеубийца». После сокращенного перевода Робинзона Крузо, знакомого уже Поволжью, Крыму и Закавказью, театральные пьесы из туркестанской жизни являются главным показателем зарождения ново-чагатайской литературы, как это было ранее и в Турции, и в остальных частях мусульманско-турецкого мира.

На ряду с другими фактами новые мусульманско-турецкие литературы свидетельствуют, с одной стороны, о

все усиливающимся проникновении в турецкий мир европеизма, а с другой,—о заметно возрастающем духовном единении между отдельными мусульманско-турецкими странами и об их тяготении к туркам-османцам.

В стороне от этого движения остается не мусульманская, сильно разрозненная и незначительная по размерам часть турецкого мира. Турецкие народы, принявшие чрез русских христианство, как чуваша, якуты и другие, получили с новой религией и алфавит, сначала—церковно-славянский, затем русский гражданский и, наконец, тот же русский алфавит, но приспособленный специально для их родного языка. Таким образом, и эти народы обладают собственной письменностью, главным образом, переводно-церковной, а также и светской, как переводной с русского, так и оригинальной. Христианско-турецкие литературы находились до последнего времени в зачаточном состоянии, но в ближайшем будущем можно ожидать усиления их развития, так как после февральского переворота 1917 года в России самостоятельность христианско-турецких народов сразу заметно оживилась.

В военной и политической истории Старого Света турецкие народы оставили глубокий след, во всемирной литературе они довольствуются пока скромным местом.

Богатая сокровищница народно-словесного творчества, эпического и лирического, турецких степняков, особенно ногайцев, киргиз-казаков, кара-киргизов и якутов содержит в себе ценнейший материал для суждения и об единстве человеческого духа, и о широте распространения международных странствующих литературных сюжетов и о проявлении высокой духовной одаренности турка в привычных для него и милых его сердцу условиях привольной кочевой жизни. Записанное неизвестным грамотеем приблизительно в XVI веке собрание красивых поэм под названием «Книга Коркуда» напоминает нам о былом эпическом творчестве наиболее ныне забывших традиции своих предков переднеазиатских турков.

А. Самойлович.



## НАРОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПАЛЕОАЗИАТОВ.

Именем палеоазиатских, древне-азиатских племен принято обозначать венок первобытных народностей, который обрамляет с севера и с северо-востока этнографическую толщу монгольских и финских народов, населяющих Азию. Палеоазиатские народы, таким образом, обитают на окраинах Сибири. Некоторые из них находятся в близком родстве между собою и могут быть соединяемы в этнографические группы. Другие стоят уединенно и до сих пор являются еще не разрешенной этнографической проблемой. В сущности, палеоазиатские племена объединяются только своей обособленностью от более культурных соседей, а также уровнем первобытности, почти одинаковым у всех.

Племена палеоазиатов, обитающие на северо-востоке, особенно в области Берингова моря, представляют значительное сходство с племенами, обитающими в северной Америке, на другой стороне того же Берингова моря, — как эскимосского, так и индийского происхождения. С этой точки зрения можно сказать, что этнографический Берингов пролив, то-есть линия, отделяющая американскую народную стихию от такой же стихии азиатской, лежит значительно восточнее географического Берингова пролива. С другой стороны, западная группа эскимосов перебросилась через Берингов пролив в Азию, на несколько крайних мысов, заканчивающих азиатский материк.

Писанной литературы у палеоазиатских народов, конечно, не существует, кроме записей, сделанных учены-

ми исследователями. Литература палеоазиатов—это народная устная литература. И в этой литературе не представляется возможным отделить элементы личного творчества от творчества собирательного. Каждая легенда, каждое предание есть как бы сумма последовательных наслоений, ярких подробностей и выпуклых штрихов, сделанных неизвестными сочинителями. Собирательный гений народа сливает эти отдельные штрихи в одно гармоническое целое.

Конечно, и в этом собирательном творчестве личный талант имеет огромное значение. Народная литература создается собирательным творчеством талантов, а не собирательным творчеством посредственностей. Сказочник, певец, это часто самая яркая фигура в поселке или на стойбище. Сказочник-импровизатор, какие бывают, например, у гиляков, это настоящий избранник богов, на подобие древних рапсодов.

Вот картина гиляцкой импровизации: «Внезапно лицо поэта бледнеет, глаза становятся большими и неподвижными, весь он вытягивается в полный рост, и из груди его выкатывается неудержимый поток нечеловеческих речитативов, то гулких и страшных, как вой голодных хищников, то нежных и ровных и тихих, как звуки гиляцкой скрипки-однострунки; и поток этот без всяких передышек льется до тех пор, пока поэт не исчерпает сюжета и не падает обессиленный среди немого одобрения слушателей на твердую нару».

Импровизации гиляцкого поэта, это внушения особого духа «миф-кехна», который имеет свое пребывание на кончике языка певца, диктуя ему свои божественные фантазии. С покровительством этого духа связана самая жизнь певца. И когда этот дух покидает певца, последний умирает.

Точно также и у чукоч сказочник, подобно шаману, является «вдохновенным», то-есть одержимым особым духом, который вселяется в него и говорит его устами. И также, как в шаманском действии, слушатели сливаются в хор, который поддерживает вдохновение рассказчика своим молчаливым сочувствием, а на самых драматиче-



ских местах поощряет рассказ так называемыми «ответами»—возгласами установленного типа: «Ух!», «Правда!», «Истина!», «Так!» Такие же ответы даются и шаману.

Народная литература палеоазиатских племен отличается особой, можно сказать, исключительной оригинальностью. У племен, обитающих на севере, в области полярного круга, эта оригинальность обусловлена самым характером северной жизни и борьбы за существование. Культура полярных племен вообще представляется своеобразной, я скавал бы, почти чудесной. Мелкие группы охотников, живущих на самой окраине вечного льда и вылавливающих себе ежедневную пищу гарпуном из холодного и бурного моря, сумели из китовых ребер и глыб снега создать себе теплое жилище, сделали кожаную лодку, лук из костяных пластинок, обвитых сухожилиями, затейливый гарпун, сеть из расщепленных полосок китового уса, собачью упряжку и сани, подбитые костью, и разное другое. Многие из этих полярных изобретений проникли далеко на юг, к племенам, обитающим в более счастливых широтах, и даже позаимствованы европейцами.

В соответствии с этой культурой не менее своеобразно и искусство полярных палеоазиатов в его различных проявлениях, и в частности их литература. Начать с того, что поэтические образы этой литературы совершенно не похожи на образы обширного сказочного круга народов тюрко-финских, населяющих северную Азию—образы, в достаточной мере знакомые и нам, европейцам.

Вместо одноглазых и одноруких духов, раз'езжающих на шестиногих и крылатых железных конях и ведущих борьбу с такими же конными богатырями, закованными в железо или даже железными насквозь, пред нами являются чудовища морского, полярного типа: оборотни-нигипчики, которые летом плавают в море в виде свирепых дельфинов-касаток, терзающих китов, а зимою выходят на берег, обращаются в волков и нападают на оленей стада; сверхъестественный белый медведь Кочатку с туловищем из мамонтовой кости; кит-шаман; ледяные великаны, дремлющие среди океана в одежде из белого пуха; герои-путешественники по дальним неведомым морям;

борцы-богатыри, которые по северному обычаю для борьбы обнажаются до пояса на лютom январском морозе.

Вот люди—половинки и люди—невидимки, живущие за морем в лесах, и люди, живущие в норах, как зайцы, и люди величиною в палец, и другие, великаны, величиною с сосну. Все они ведут немую и заочную торговлю с приплывшими торговцами, требуя у них табаку...

Птичьи ворота вечно спшибаются на самом земле-небесном рубеже. За этими воротами лежит земля птичьей радости, куда птицы улетают на зиму. Там край твердого неба падает на землю и отскакивает обратно,—так быстро падает, что птицы не успевают пролететь и небесная ловушка прихлопывает задних. Обе половинки ловушки покрыты толстым слоем толченых птиц, больше, чем в рост человека, и перья там вечно носятся по ветру.

Дерево стоит в океане; в дереве душло, в дупле живет злой дух. Сучьев у дерева выше счисления, на каждом суку двадцать раз двадцать отростков, на каждом отростке по острому шипу. С каждым приливом дерево ложится на бок и погружается в пучину, а когда поднимается, все оно белеет от рыбы.

Вот обезумевший шаман Рынтеу, околдованный чарами «старушки с порчею» из народа Керевгелин, величиною с наперсток. Он выбежал из спального помещения, а потом из шатра, и тем самым выбежал из двух вселенных и попал на третью. Там он висит над морской пучиной, сидя на каменном палыце, отростке скалы.

Новые и новые образы являются пред нами в неожиданных и новых сочетаниях. Вся палеоазиатская народная литература—это новая литература для нас, европейцев.

Прежде всего, нужно отметить чукотскую сказку. Каждая чукотская сказка это поэма особого типа и особой красоты. Я назвал бы эту красоту северною красотой. Чукотская сказка не отличается ни многословием, ни богатством эпитетов. Она достигает своих эффектов самыми простыми и скромными средствами. Изредка вырвутся две-три короткие страстные фразы, как будто из самого сердца:—«О, зачем же женщину ранили?.. Пусть бы мужчину!.. Женщину ранить постыдно!..» «Пришел в мое



сердце великий гнев. Зову вас на битву с чужим народом. При вашей помощи буду силен!..»

И опять начинается описание событий, спокойное, простое. Между прочим, поэтому чукотские сказки и легенды весьма содержательны, особенно те, что побольше.

В разных приморских поселках на Полярном и на Тихом океане можно услышать подробные рассказы о сказочниках прежнего времени, которые умели нанизывать сюжеты и сплетать конец одного рассказа с началом другого. Такой сказочник продолжал одну и ту же сказку целую ночь и даже целый ряд ночей, на подобие Шехерезады.

Современные сказочники менее искусны. В записях моих, тем не менее, попадаются образцы подобных сплетений; есть рассказы значительных размеров, которые я записывал со слов рассказчика в течение нескольких дней. Нужно притом же принять во внимание, что рассказчик во время диктовки постоянно опускает подробности, чтоб сократить по возможности длинную и скучную работу.

Долгие зимние ночи, вечная тьма, жестокие бури, от которых нужно отсиживаться дома, как в осажденной крепости, как-то особенно располагают к игре воображения. Эти долгие невольные досуги словно нарочно предназначены к тому, чтоб их заплести и наполнить цветами сказочной фантазии. И не даром у чукоч существует воззрение, что сказка есть лучшее средство для того, чтоб успокоить бурю. И чукотский сказочник кончает свою сказку так: «Конец. Я убил бурю!..»

Когда перебираешь эти затейливые плоды северной фантазии, невольно вспоминается холодная Исландия и ее обстоятельные, длинные, пышные саги. В Исландии полярные ночи и зимние досуги породили широкое развитие героической литературы, устной сперва, а потом и письменной. Если когда-нибудь чукчи с коряками дойдут до того, чтоб записывать самим свои легенды и предания, мы будем иметь сборники, способные соперничать с Геймскринглой и Новой Эддой Снурре Стурлесона.

Одновременно с этим в созданиях полярного творчества встречается сходство не только с исландскими сага-

ми, но также с манерой авторов нашего культурного, нового, даже новейшего века. Отмечу, например, несомненное сходство сказки «О Вороне-Творце» (№ 33 Сборника чукотских легенд, приготовленного ныне для печати) с «Дневником Адама и Евы» Марка Твэна. Особо типично изумление первого мужчины при виде того, как первая женщина без всякого усилия рождает новую жизнь. Это изумление обрисовано совершенно одинаково у Твэна и у неизвестного чукотского сказочника.

Далее можно отметить такое же сходство сказки о «Зайце, похитившем солнце» (№ 52 того же Сборника) с рассказом Короленки «Йом-Кипур». В обоих рассказах могущественный Дух схватил пленника и уносит его в вышину. И пленник, глядя вниз, видит, как земля под ним становится меньше и меньше, и потом исчезает совсем. Сходство не только в общих очертаниях рассказа, но, именно, в самых подробностях художественного описания, в отрывистых сравнениях, в волнении и страхе летящего и т. д.

Чукотская сказка не только богата грандиозными образами и затейливыми приключениями. В исторических преданиях она возвышается до героического эпоса. Этот эпос относится к борьбе чукоч с айванами-эскимосами и таньгами-коряками, в союзе с которыми выступают и русские. Русские поэтому также называются таньгами, огнивыми таньгами, лучно-огненными таньгами. Огнивный или огненный лук—это, разумеется, кремневое ружье казаков-завоевателей Сибири. Сами казаки его называли «огненным боем».

Часть эпоса, относящаяся к русским, совсем новая,—половины восемнадцатого века. С русской стороны героем ее является Якунин, злой богатырь, «худобивательный» начальник последнего казачьего похода против чукоч. «Худобивательным» Якунин называется за то, что он убивает чукотских пленников ухищренными мучительными способами. Под именем Якунина разумеется майор Павлуцкий, погибший в 1747 году, в битве близ реки Анадыря. Русские в этой битве были наголову разбиты чукчами. Сам Павлуцкий был убит, а по другим



сведениям взят в плен и замучен чукчами в виде возмездия за его «худоубивательность».

С чукотской стороны является целый ряд фигур, мужских и женских, очевидно, полуисторических, намеченных бегло, но все-таки ярких и жизненных. Эти цветные фигуры выступают особенно рельефно на общем фоне безымянности народной легенды и сказки, какая существует не только у других палеоазиатов, но даже у различных, более культурных народов.

— Жил себе был человек, или дед с бабой, или царь с царицей,—таково обычное начало народной сказки, уже превратившееся в шаблон.

Также и среди палеоазиатов можно указать, например, безымянность гилацкого рассказа. Даже в историческом эпосе гилаков совершенно отсутствуют собственные имена действующих лиц и есть только названия местностей. Настоящим героем гилацкого эпоса является не отдельное лицо, а сплоченный коллектив рода. В трудную минуту общего бедствия, когда требуются герои, отдельных героев нет, потому что все герои.

В противоположность этому герои чукотского эпоса отнюдь не смешиваются с общею массой племени. Их имена не забыты до сих пор и многие семьи ведут родословную от того или другого из них. И тот, кто прослушал однажды рассказ об их подвигах или прочитал его в книге, не смешает их с другими и не забудет о них.

Вот предводитель чукотских боевых отрядов, Ляутыливалин, «Кивающий Головой», прозванный так потому, что в битве он отдает приказание, кивая головой. Он настолько грозен таньгам-корякам, что при осаде им коряцкой крепости, женщины таньгов, слышав звук его голоса, убивают своих детей и девушки удушают сами себя. Одним выстрелом он сбивает надстройку с крепости врагов и разбивает ее вход. Другой богатырь, Эленнут, несмотря на свою силу, является только его «подмышечным помощником», стоящим с ним плечо в плечо, хотя и его стрелы сыплются, как снег, падают так часто, как капли мочи.

Эленнут—самая любимая фигура этих героических рассказов. Он описывается с особой тщательностью. Его

руки длинные, ниже колен, кулаки его, как две большие чаши. Руки его крепче железа, плечи его возвышаются над толпой, как плечи дикого оленя. Он бежит в проскачь по глубокому снегу, как лось, и сражается отдельно от товарищей, говоря: «кто жмется в куче, тот плох!»

Айнаыргин («Крикун») отличается не только силой, но также и нетерпеливостью. Когда русский богатырь вызывает соперников, он высказывает раньше всех, хотя в решительную минуту его заменяет Эленнут.

Ам-Лю, «Костяное Лицо», прозван так потому, что лицо его нечувствительно к ударам, как кость. Ам-Лю побеждает даже «Кивающего Головой», несмотря на помощь, которую этот последний получает от своего товарища Ыркытовадлана («Мягкозадый»). Рассказ об Ам-Лю является, повидимому, пародией героического эпоса и его любопытно сопоставить, например, с такими же народными пародиями русских былин.

Богатырь Нанкачат одет в панцирь из крепкой лах-тачной шкуры. Он так велик, что во время ледохода на реке Номваан ложится поперек течения, останавливая лед, и кочевые обозы проходят по его телу, как по мосту.

Вот русские обходят чукок, засевших в ущельи. Впереди идет Якунин худоубивательный в железном панцире, с копьем и ружьем. У входа в ущелье стоит юноша Эыргин с луком в руках. Лук у него маленький, а стрелки из китового уса. Он пьет из деревянной чаши воду. «Шей хорошенько, кричит ему Якунин, больше ты не будешь пить на этой земле!»

Грубая фигура силача, толстомясого Тале, и благородная фигура Эленди встречаются рядом. Тале лежит в пологу, как расслабленный, и наедает себе мясо. Он питается жиром, языками, мясом молодых телят. Зато, когда приближается время войны и он выходит, наконец, из спального полога, он весь обременен мускулами и мясом, которое ему подпирает и шею и щеки. Он подвергает себя неумолимо крутой дрессировке и в двадцать дней успевает реализовать всю скрытую энергию своих мышц.

Эленди воплощает в себе семейную и общественную добродетель. Он не может спать ночью, так как сестре его нанесли обиду. Всю ночь он ходит по полю и рвется



отомстить. И грубой жене айвана насильника-богатыря он бросает упрек: «Почему же ты тайно от мужа не кормила толодных соседей и не давала им еду?... За это я убиваю тебя!»... «Я всех своих соседей кормлю, кричит он айвану,—сам с'ем кусок, им отдам другой. А ты своих соседей так приучил:—они есть при тебе не смеют».

И вместе с мужскими выступают и женские фигуры:—две сестры того же Эленди с их красноречием и гордостью и женской красотой и особенным женским лукавством; девушка-витязь, победившая таныгинского богатыря в состязании на копьях и после победы заявляющая скромно: «Не желаю убить тебя. Я женщина и я стыжусь. Не хочу, чтоб сказали потом, что женская рука умертвила тебя»,—и многие другие.

Чукотский эпос совершенно жив и действителен. При случае он готов расцвести и теперь такими же цветами, как во время похода Павлуцкого и якутских казаков на северную тундру. И по поводу поездки на тихоокеанский берег в 1897 году, Н. Л. Гондатти, бывшего тогда начальником Анадырского округа, я встретил уже через несколько месяцев на западной тундре, за тысячу верст от океана, только что сочиненный рассказ такого же эпического склада, в котором фигура Гондатти обрисована широкими и четкими штрихами, подстать Крикуну и Элендиту.

Гондатти, под именем Маньо, вступает в единоборство с «бородатым» китоловом, спиртововом и пиратом,—чукчи зовут американских китоловов Лелютвылит, «бородачи».

«Скоро смял руки бородатому, пригнул их к ногам, связал его железной веревкой (цепью) и увез его с собою».

Во время собрания материалов по чукотскому фольклору сказочники часто требовали с моей стороны расплаты такими же рассказами о неведомой жизни на юге и на западе. Приспосаблиясь к их пониманию, я рассказывал им о городах, где так тесно, что люди ставят шесть жилищ одно на другое и взбираются в свою спальню, как на вершину горы, где человеческая толпа течет по улицам, как вода, и где легко заблудиться именно среди

наиболее густой толпы людей; говорил также о черных людях, которые обитают в стране, где вечное лето, и ходят постоянно нагие, о младшем брате мамонта (слоне), который еще живет на земле и служит людям для верховой езды, и проч. Потом эти рассказы передавались дальше и порой возвращались обратно ко мне. Но в новой передаче они приобретали такой же эпический характер, как вышеприведенный рассказ об анадырском начальнике Маньо.

Мало того, при помощи нескольких ярких мазков, удачно сделанных сопоставлений, чукотский эпос умеет дать характеристику целых широких пластов быта и жизни затронутых народностей. Вот, например, сопоставление оленного быта коряков, замкнутых в собственном кругу, и более подвижной полуприморской жизни чукоч на северной тундре:—Эленди наказывает сестре: «Ударь своего мужа по лицу и скажи: Надоедливый ты! Когда я у братьев жила, они меня кормили морским куском, тюленьим жиром. С своей неизменной оленьиной зачем постоянно пристаешь?»

Если чукотский эпос столь жив и действителен, то не менее действительна живая связь палеоазиатской народной литературы с окружающей природой. Природа для этой литературы—живая природа. Вся она наполнена, насыщена жизнью, и в этом текучем потоке жизни бессмертной и бессонной, человеческая жизнь одновременно плавает и тонет, как капля воды в океане. И я не внаю во всей мировой литературе более яркого выражения, так называемого анимизма, одухотворения природы, как этот отрывок из «шаманских видений» оленного шамана Коравии:

«В речном яру живет обладатель-«хозяин», голос там существует и оттуда говорит. Маленькая серая плиска с синевой грудью шаманит, сидя в углу между суком и деревом, и призывает своих духов. Дерево дрожит и плачет под ударами топора, как бубен под колотушкой... Все сущее живет, светильник умеет ходить, стены дома имеют свой голос, и даже ночной горшок имеет собственную страну и жену, и детей. Шкуры, лежащие в мешках, на запас для торговли, разговаривают по ночам. Оленьи



рога на могилах покойников ходят обозом вокруг могил, а утром становятся на прежнее место и покойники тоже встают и приходят к живущим!..»

Камни и деревья, реки и озера живут человеческой жизнью. Особенно звери подобны во всем человеку. Люди—такие же звери, звери—такие же люди. Горноста́й—это статный молодец в одежде из белого меха. Зато, с другой стороны, человеческий шаман вынет из-за пазухи свой амулет, горностаевую шкурку, и вдруг перекинется сам горностаем и скользнет из шатра. Мыши—такие же жители, такие же племя, как мы. У них есть шатры и обовные сани, собственные шаманы и идо́лы и связки амулетов и также свои собственные празднества.

В соответствии с этим у палеоазиатских племен развился широкий отдел сказок о зверях, который порою поднимается до животного эпоса. На первом месте нужно упомянуть коряцкие звериные сказки. Центральной фигурой этих сказок является ворон, причудливый двойственный образ. С одной стороны, это—божество, творец-устроитель вселенной. У коряков камчадалов и чукоч, а также и у разных индийских племен на другой стороне Берингова моря, легенды о сотворении мира и о приведении его в надлежащий порядок неизменно связаны с вороном.

Рядом с этим многочисленные сказки с каким-то особенным старанием, с насмешливой любовью, описывают проделки и хитрости ворона, его неразборчивость в пище, его бесцеремонность в любви. Ворон приходит в столкновение с различными другими животными, с лисицей и орлом, с зайцами, с мышами, является то победителем, то побежденным. Тонко подмеченные свойства животных прихотливо переплетаются с такими же человеческими свойствами, и, действительно, звери выходят людьми, оставаясь в то же время зверями. Коряцкие и чукотские звериные сказки дают ключ к пониманию басен и животного эпоса более культурных народов.

Далее, рядом с людьми и зверями и всеми видимыми материальными вещами, природу населяют бесчисленные духи, невидимые глазу. Они тоже обитают в поселках и на стойбищах, охотятся, варят себе пищу, пьют и едят.

женятся, производят детей и даже умирают, точно так же, как мы. Разница в том, что предметом их охоты, ежедневной насущною пищей, являются не звери, а наши человеческие души.

Чукотская сказка посвящает особенно много внимания описанию жизни и быта этих невидимых племен, враждебных человеку. Они описываются с поразительной яркостью и реализмом. Вот группа незримых охотников под'ехала в ночной темноте к человеческому стойбищу. Они привязали оленей в стороне и подбираются к шатрам тихонько и без шума, чтобы не испугать добычу. Облюбовав шатер, они обметали его со всех сторон сетями и стали тыкать оленями погонялками под меховые полы шатра, чтоб выпугнуть оттуда мелкие человеческие душки. После того, вынутую из сетей добычу, всю трепетную, они связали попарно и, уложив в особые мешки, увели ее с собою...

Такие примеры можно было бы привести десятками.

С этими незримыми охотниками, с этими опасными ловцами человеческих душ, люди борются при помощи шаманства и волшебства. Словесная часть такого волшебства выражается в заклинаниях. И опять таки в палеоазиатской литературе можно найти небывалое богатство словесных заклинаний, с виду простых, но скрывающих таинственную силу. Ибо палеоазиатские заклинания имеют самое реальное, я сказал бы, деловое применение. Путник сокращает при их помощи предстоящую ему дорогу, дровосек старается сделать дерево более податливым топорю, даже сказочник, рассказывающий сказку, но внезапно «проглотивший ее конец», по чукотскому выражению,—шепчет про себя заговор, который должен помочь ему «выблевать» обратно забытое.

После сказок и легенд, заклинаний и шаманских «видений» нужно сказать несколько слов о поэзии и песне. Чувства, отраженные в этой поэзии, весьма разнообразны. С чукотским эротизмом нескромным и чувственным можно сопоставить коряцкую ревность и юкагирскую стыдливость. В чукотских описаниях почтенные старцы умирают от одного созерцания женской красоты, от сластолюбивого взгляда, брошенного на белую руку, высу-



нутую из кибитки. У юкагиров, напротив, юноша умирает от неосторожного жеста, от непрощенного чужого прикосновения.

Особого развития достигла гиляцкая лирика. По свидетельству исследователей, лирика—самая оригинальная и сильная отрасль гиляцкой поэзии. В ее мотивах нет ничего заимствованного, все дышит непосредственностью, силой и свежестью образов, глубоким чувством природы. Преобладающий мотив ее любовь: описание красот возлюбленной, страдания любви, борьба с препятствиями, диалоги влюбленных, наконец, предсмертные песни влюбленных, решивших развязать свою неудачную борьбу с препятствиями и запретами совместным самоубийством.

Наряду с трогательными песнями страдающей любви находим и мотивы безжалостного высмеивания отвергнутых поклонников.

В юкагирской лирике можно отметить туземный идеал красоты, воспеваемый влюбленными. Красивый цвет лица рисуется цветом пожелтевших иголок осенней лиственницы, длинные волосы юноши сравниваются с беличьими хвостами, стройный рост с рябиной.

Юкагирская лирика вошла в любопытное соприкосновение с лирикой русской, прицесенной первыми казаками, и породила у обруселой части юкагиров, так называемую «андыльщину». Уместно упомянуть, что именно у обруселых чуванцев и юкагиров сохранились также богатырские былины киевского цикла, заимствованные ими, разумеется, от русских, и старые русские песни, хорошие, свадебные, колыбельные и пр.

«Андыльщина»—это полумимпровизированная любовная песня особого склада. Поется андыльщина по-русски, но самое слово: андыльщина юкагирского происхождения. Оно происходит от юкагирского слова адыл—«юноша», также «любовник». Андыльщина поется протяжно, то-есть протяжно, с бесконечными повторениями и отступлениями от общей музыкальной темы. Напевы андыльщины отличаются оригинальностью и частыми переходами от высоких тонов к низким. Происхождение этих напевов имеет прямое отношение к юкагирскому народному элементу. До сих пор одним из основ-

ных напевов считается юкагирский («андыльщина на юкагирский склон»). Текст андыльщины составляется с такой же свободой, как и напев. Существует ряд поэтических оборотов и фраз, которые составляют общее достояние людей, поющих андыльщину. Между прочим, андыльщина обнаруживает особенную склонность к употреблению уменьшительных и ласкательных слов, часто нарочно составленных для этого рода песни.

Таковы: птаня, жальчиночка, очелинка, и даже Всевышненькой; хмелиночка вместо хмель. Суханочка—река Сухой Анюй, Колымочка—река Колыма и т. д.

Не гонился я, Мишаночка, парень за твоею красотой,  
За красотой,  
А гонился я, Иванович, за твоею русою косой,  
Да за косой!  
Да в течение любовушки тебе я косой видичек не покажу,  
Не покажу,  
Да за проступки за главные тебе я слова бранного, птаня,  
не скажу,  
Да не скажу!..  
Тогда спомлишь, голубушка, когда мелкие пташки, птаня,  
воспоют,  
Да воспоют,  
Да весну красну, смугляночка, будем мы в разлуке с тобой,  
бой, птаня, проводить,  
Да проводить.  
Ну старался я, Мишаночка, лично свиданнице с тобой,  
девка, возыметь,  
Да возыметь.  
Да успрошу я хозяина, парень, на минуточку, хоша на часок,  
Да на часок.  
Да уволь ты меня для свиданница, Мишу, уволь улететь,  
Да улететь!  
Да зимню пору я долгим плесом, парень, на рысях хлестко  
выбегал,  
Да выбегал.  
Да летню пору мелку росу хватал по вершиночкам толь  
по пустымок,  
Да по пустым.  
Да осеннюю темну ночку с Машей до бела света я, парень,  
не сыпал,  
Да не сыпал.



Да тешил-нежил Михайловну я да как малую, парень, я  
дитю,  
Да все дитю.

Да показала нам темная ночка только за минуточку,  
итаня, за одну.

Нужно упомянуть еще детские колыбельные песенки такого же смешанного чуванско-юкагирско-русского происхождения.

Моя бабушка чуваночка,  
А вторая-то чукчаночка,  
Уж как третья-то русаночка...

Рядом с этим юкагирским вкладом в русскую народную литературу, можно отметить у чукоч ряд сказок, заимствованных у русских. Эти сказки так и называются «русскими» (таньгин). Некоторые из них очень забавны в своем приспособлении к пониманию чукоч.

Пузырьки с мертвой и живой водой определяются, как «нечто похожее на рыбу желчь». Высшим проявлением царской и даже божественной роскоши считается возможность во всякое время пить чай с сахаром и сухарями. Умное лицо переодетого царевича в виде похвалы сравнивается с лицом кузнеца, так как кузнец считается представителем высшего ума и таланта. Русские люди, жители Дальней России—«там, далеко!»—терпят голод во время неулова рыбы, так как предполагается, что они тоже питаются рыбой, как русские поречане на реках Колыме и Анадыре.

Можно отметить также разнообразие чукотских напевов и, в частности, так называемое «горлохрипение», которое производится преимущественно посредством выдыханий, а не выдыханий. Между прочим, чукотские певцы считаются потомками Рультеннина, небесного певца. Рультеннин это созвездие, совпадающее с Орлионом. Некоторые семьи, у которых благозвучное пение считается в роду, выводят от него свое происхождение.

Таким образом, народная литература палеоазиатов, это целая сокровищница, или, лучше сказать, это целая копь неизвестных сокровищ, едва разработанная, часто еще не отмеченная даже предварительной разведкой.

Многие группы племен совсем не затронуты исследованием. Там ничего еще не собрано, если не считать отрывочных записей, сделанных случайными туристами, монахами, купцами, писарями.

Из записей более научного и полного характера, относящихся к другим племенам, многое не опубликовано до сих пор, даже в специальных изданиях. Так, например, из тилляцких записей Л. Я. Штернберга опубликовано только первая часть первого тома и, между прочим, вся лирика осталась не опубликованной. Коряцкие записи В. И. Иохельсона и мои опубликованы только по-английски. Камчадалские записи Иохельсона и мои, алеутские записи Иохельсона и азиатско-эскимосские—мои, совсем не опубликованы.

Азиатские эскимосы с алеутами, строго говоря, не относятся к палеоазиатам, но они принадлежат к тому же культурному кругу приполярных областей, и народную литературу этих племен нельзя отделять от народной литературы палеоазиатов.

То, что опубликовано из литературы палеоазиатов, скрывается в ученой глубине различных Бюллетеней, Записок и Сборников и других специальных изданий, совершенно недоступных и неизвестных широкому читающему кругу.

В русской литературе творчество палеоазиатов почти не отразилось. Можно упомянуть серию чукотских рассказов пишущего эти строки, да разве еще якутские рассказы В. Серошевского и в более новое время тунгусские рассказы И. Гольдберга. Якуты и тунгусы—это опять-таки не палеоазиаты, а только их близкие соседи, сопредельные и сходные с ними. Помимо того три упомянутых автора принадлежат к трем различным литературным направлениям. Пишущий эти строки старался быть реалистом. Серошевский является романтиком, а Гольдберг—народником-сентименталистом весьма старомодного типа.

Между тем, именно теперь, вместе с растущим течением лет бурного двадцатого века, было бы особенно желательно, чтоб в русской литературе, рядом с другими



струями, текущими с востока, из Азии, протекла и забилась также и эта совсем неизвестная, северо-восточная палеоазиатская струя.

Весь смысл переворотов политических и социальных, которые словно столпились на пороге двух веков и даже отесняют друг друга в сторону, в том и состоит, что народы и классы, которые до сих пор были пассивным объектом истории, желают сделаться ее активным и важным субъектом; нации и племена, бывшие раньше безответственными делимыми стремятся сделаться ответственными делителями.

В первом ряду среди этих растущих делителей всемирного культурного богатства выступают цветные народы и расы, желтые, коричневые, темные, черные люди.

Черная и желтая опасность, о которой так много говорят, с точки зрения мировой литературы, является совсем не опасностью, а только приращением богатства, открытием новых источников, притекающих с востока и с юга, из самых богатых, цветистых и знойных земель, обильных и солнцем, и красками. Одноцветность чужда, ненужна мировой литературе. Чем сложнее ее пестрый букет, тем его запах душистее и слаще.

Цветное влияние цветной половины человечества проникает с различных сторон и влетает в самое сознание представителей «белой» культуры, помимо их воли, и в белой одноцветности будит многокрасочный спектр.

Лучшим примером является Редьярд Киплинг, этот чопорный и гордый англичанин, родившийся в Индии, и в воздухе детства впитавший весь запах, и цвет, и красу этого сверкающего мира. Таким образом, Редьярд Киплинг, этот яркий представитель английского империализма, воспевавший так громко и настойчиво права и ответственность белых, почти против собственной воли, принес в литературу с индийского востока два одинаково ярких луча или отблеска. Один—это отблеск от светлого круга индийской культуры, отклик от тех миллионов людей, которые так или иначе являются творцами ее, и слугами, и стражами. Другой отразился от более древних, далеких, глубоких племен, для которых брахман это новый пришлец, которые родились из темной индийской земли

в незапамятное время, вместе с зверями и травами джунглей, болот и лесов.

Ядом с прекрасным романом «Без благословения церкви», сжатым в три крошечных главки и похожим на трагедию Шекспира в индийской обстановке, Киплинг написал еще более поразительную «Книгу Джунглей», героями которой являются даже не люди, а звери, эти ранние насельники земли, предшествовавшие человеку...

Именно такое двойное влияние, идущее с востока, должна воспринять и русская литература.

Нельзя, однако, забывать, что русский восток—это самая северная часть восточного мира, что русская даль пролегла на многие тысячи верст по берегу Ледовитого моря, и вместо тропических знойных колоний у нас есть безбрежная тундра, целая вселенная снега, от реки Колы до реки Колымы.

Русский восток—это Персия, Кавказ и Туркестан. Индия для этого востока является общею матрицей, а далекий Китай—дальне-восточным фоном. Зато первобытные народы русского круга земель—это приполярные народы.

Только из разнообразных, часто неожиданных произведений, созданных творчеством наших полярных племен, мы, русские, можем понять и прочувствовать сущность того первобытного звериного начала, которое наполняет собою весь исторический мир, которое дремлет так чутко и в груди цивилизованного человека, готовое каждую минуту проснуться и вырваться наружу.

И в ярких проявлениях слияния с природой, которая бьется и трепещет в груди полярного палеоазиата, мы можем уловить ощущение того, что и мы тоже составляем часть этой самой природы, предвечной и бессмертной, что наши собственные корни уходят в ту же самую землю и что также, как жизнь дикаря или дикого зверя, и наша жизнь возникает и тает, рождается и умирает.

Конечно, природа, дающая краски и фон палеоазиатскому творчеству, это природа севера. Но и наша родная природа, привычная нам, тоже относится к северу, и нам нечего стыдиться мнимой скудости ее проявлений, крат-



ких трепетаний ее жизни, замирающей в каждом году на полгода, потом воскресающей снова.

Север имеет свои собственные краски, быть может, незнакомые югу, и в частности север полярный с его ослепительно белой весной, с апрельской полнотной зарею, отраженной от зеркала еще не растаявших льдов, с особою снежной слепотой от яростного солнечного блеска, с июньскими неделями, не знающими ночи, когда невозможно разобрать, где же окончилось вчера и где начинается завтра, этот далекий невѣдомый север особенно прекрасен.

Ощущение жизни полярной, внезапно воскресшей из мертвых в три дня во время ледохода, интенсивней того, которое дается тропической жизнью, никогда не умирающей и также никогда не воскресающей.

И если опять сопоставить творчество крайнего севера с творчеством дальнего юга, если воротиться к Индии и к «Джунглям» Редьярда Киплинга, то надо заодно указать замечательную чукотскую сказку о Метынго, брате оленем, сожителе волчьим и лисьем супруге. Сказка о Метынго—это как бы первичный набросок такой же чудесной поэмы о братстве людей и зверей. Чукотский Метынго является братом не только оленям и волкам. Он представляется братом также и Моугли-Лягушонку, Волчьему Приемышу из «Книги Джунглей» Киплинга. Оба они составляют все то же «обретенное звено», живой мост из звериного в людское. К обоим одинаково относится замечательный термин чукотского языка: *геркин*—«уподобляться зверю».

Русская «Книга Джунглей» еще не написана. Но если найдется талант достаточно свежий и мощный, чтоб выткать ее разноцветную и пышную основу, он не забудет воткать в нее все нити, идущие с севера, наивные и радужные нити полярной первобытности.

*В. Богораз.*



## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| От редакции . . . . .                                  | 5—6   |
| Индийская литература С. Ольденбурга . . . . .          | 7—23  |
| Арабская литература И. Крачковского . . . . .          | 24—33 |
| Литература турецких народов. А. Самойловича . . . . .  | 34—49 |
| Народная литература палеоазиатов В. Богораза . . . . . | 50—68 |



\* \* \*

Мировая литература для русского читателя представлялась почти исключительно, как литература Запада; смутно иногда носились перед ним неопределенные образы Востока, и иногда лишь в круг его чтения попадали случайные переводы литературных восточных памятников, притом по большей части, как переводы не с восточных подлинников, а с западных переводов.

Ныне Издательством „Всемирная Литература“ делается впервые попытка при помощи русских востоковедов приобщить в сознании русского читателя памятники Востока к мировой литературе, соединив их с памятниками литератур Запада. Русские востоковеды охотно откликнулись на призыв передать понятную русскою речью замечательные и характерные произведения восточных писателей, над которыми они работали всю свою жизнь. Выбор, несмотря на большое число предоставленных издательством томов, был, к сожалению, необходим, и ввиду обширности материала, и в значительной, конечно, мере ввиду наличных сил переводчиков: дополнить всегда будет возможно. Выбор сделан, однако, такой, что, если только удастся осуществить всю программу, то мы будем в праве сказать, что русская литература обладает серией памятников восточной словесности, какой не имеет еще ни один народ.

К литературе книжной мы сочли нужным присоединить для каждого народа образцы его народной словесности, без которых, по нашему мнению, была бы неполна картина духовного творчества Востока.

Мы начинаем с древнейших доступных литератур Египта, Ассирии и Вавил — памятники древних семитических литератур, где на первом месте — первый русский научный и общедоступный перевод Библии, при-

влекаем Иран с древнейших времен, включая и знаменитую надпись царя Дария. Многообразный мир Кавказа представлен и литературой и народной словесностью. Литературы остального Христианского Востока представлены Сирией, Коптами, Арабами, Абиссинией. Великие цивилизации Индии и Китая доставили богатейший и разнообразнейший материал; к ним примкнула и Япония. Разлившийся по Азии и значительной части Африки и средневековой Европы арабский литературный язык дал Коран и свои главные литературные произведения. Турки, занявшие значительную часть Азии и восточной Европы, представлены литературными образцами на многих языках и наречиях и образцами народной словесности, а сибирские инородцы и монголы, главным образом, памятниками народной словесности; к ним присоединяются те из финских племен, которые более сродни Востоку, чем Западу. Народная же словесность дала в значительной мере материал и для Тибета, чтобы не повторять индийских оригиналов в тибетских книжных пересказах.

Как скоро удастся осуществить целиком эту громадную программу, сказать трудно, ибо препятствий к ее осуществлению много, но самая ее постановка и начало осуществления — уже большой шаг вперед, мы в это глубоко верим, на пути к познанию души Востока, которую так плохо понимает западный человек, увлеченный достижениями своей цивилизации и, потому, слепой к великой и удивительной культуре Востока.

Издание будет вестись в двух сериях, из коих одна предназначается для более подготовленного читателя, а другая — для самых широких кругов, которые должны быть непременно приобщены к знанию и пониманию мировой литературы, значит и Востока.



не



\* \*  
\*

Заведующие Издательством: *М. Горький, Э. И. Гржебин, И. П. Ладыжников, А. Н. Тихонов.*

Редакционная Коллегия экспертов Восточного Отдела: *В. М. Алексеев, М. Горький, И. Ю. Крачковский, Н. Я. Марр, С. Ф. Ольденбург, А. Н. Тихонов.*

В редакционной и переводческой работе принимают участие: *Н. Г. Адонц, А. П. Алявдин, М. Н. Багатуров, В. В. Бартольд, Е. Э. Бертельс, В. Г. Ботораз, В. М. Викентьев, Б. Я. Владимирцов, И. М. Волков, Ф. Ф. Гесс, С. Г. Елисеев, А. И. Иванов, В. И. Иохельсон, П. К. Ковцов, В. А. Котвич, Н. Н. Кротков, И. П. Кузьмин, П. Н. Макинцян, Н. Н. Мартинович, Б. В. Миллер, Л. И. Назарянц, И. А. Орбели, Э. К. Пекарский, О. О. Розенберг, Ф. А. Розенберг, А. А. Ромаскевич, А. Н. Самойлович, А. А. Семенов, В. Д. Смирнов, М. Н. Соколов, С. И. Соколов, В. В. Струве, В. А. Териан, М. Г. Тихая-Церетели, Б. А. Тураев, П. А. Фалев, Н. Д. Флиттнер, А. А. Фрейман, А. С. Чилингарян, А. А. Шахматов, В. К. Шилейко, А. В. Шмидт, А. Э. Шмидт, Л. Я. Штернберг, Ф. И. Щербатской.*

